Проблема Воланда

Глава 1. Попытка теории

В 50-е годы одним из заключенных в Каргопольлаге МВД СССР был некто Рутштейн — некрасивый человек со скрипучим голосом, простодушный до глупости, почти до юродства. Над ним смеялись, как над живым анекдотом, а потом иногда жалели. Леня В. говорил, что Рутштейн создан Богом для утешения антисемитов...

На воле Рутштейн был основщик, т.е. преподаватель основ марксизма-ленинизма, и написал диссертацию на тему «Свобода и необходимость». Исследуя эту категорию, он спросил: что было бы, если бы агенты Временного правительства убили Ленина? Ответ (в 1949 г.) был ясен: Октябрьскую революцию совершила бы партия под руководством товарища Сталина. Здесь в 1949 году надо было остановиться, но Рутштейн был честно глуп и поставил следующий вопрос: а если бы агенты Временного правительства убили Сталина? Тогда Октябрьскую революцию совершила бы партия... Партия без Сталина... Дураку дали 10 лет.

Я вспомнил проблему, поставленную Рутштейном, читая японское интервью Солженицына:

«Под словом «Революция 17-го года» я понимаю некий единый процесс, который занял по меньшей мере 13 лет. То есть от Февральской революции до коллективизации 30-го года. Собственно, только коллективизация и была уже настоящей революцией, потому что она совершенно преобразила лицо страны. Так вот, я должен сказать, что я за эти 45 лет установил, что процесс совершенно единый, из февральской революции не мог не вытечь октябрьский переворот, он должен был выйти из нее. Вот перещупал день за днем революцию и убедился, что уже в марте 1917 октябрьский переворот был ре-

шен, что есть единая линия: Февральская революция — Октябрьская революция — Ленин — Сталин — Брежнев...»[1]

Мне кажется, верно, что революция — не один день, а несколько лет. Великая Французская революция заняла целый период (1789-1794); и целый период — Английская революция XVII в., Голландская — XVI в. Мы говорим о революции 1905-1907 гг. (называя ее обычно «революцией 1905 года», но растягивая год до трех лет). Кошмар террора 30-х годов длился по меньшей мере лет 5 (с 1934-го по 1939-й), но вошел в народную память и в язык как «1937 год». Так что парадокс растянувшегося «1917 года» не так уж странен и схватывает в одном обороте целый исторический комплекс.

Смущает другое: железная необходимость, с которой из Февраля вырос не только Октябрь (это бы куда ни шло), но и Сталин ... и коллективизация... А если «единая линия» есть, то почему она прыгает: «Ленин — Сталин — Брежнев?» Куда подевался Хрущев? Видимо, в «единую линию» он не совсем укладывается; и печатание «Одного дня из жизни Ивана Денисовича» скорее можно объяснить «волюнтаризмом Хрущева», а говоря языком религии и философии — свободой волей личности. Но если Хрущев обладал свободой воли, то почему лишать ее Сталина? И отрицать его авторство, его неповторимый почерк в некоторых событиях? Как совместить личное, неповторимое — и историческую необходимость?

«Перещупывание дней» решительно ничего не доказывает. Каждый изучает факты по-своему. Толстой, «перещупав факты», создал концепцию войны, с которой Солженицын, «перещупав факты», совершенно не согласен (и в «Августе 14-го» опровергает ее). Можно не согласиться и с концепцией Солженицына. Исторический роман придает взглядам автора известное правдоподобие; однако роман не есть историческое свидетельство. В лучшем случае это модель. Всегда возможны и другие модели, другие гипотезы. Однозначно объяснить историческую действительность невозможно...

Здесь, однако, мы сталкиваемся с заявкой, изложенной в статье «Наши плюралисты».

«Может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом и притом среди высших? Странно, что простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм да, охотно признаем, — однако цельного движения человечества? Во всех науках строгих, т.е. опертых на математику, истина одна, и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет. Если истина вдруг

двоится, как в некоторых областях новейшей физики, то это — оттоки одной реки, они друг друга лишь поддерживают, так и понимается всеми. А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, и зачем из этого несовершенства делать культ «плюрализма...»[2].

Отвлекаясь от всякой полемики за и против плюрализма, демократии, уважения к взглядам противника, взглядов меньшинства и т.п., надо заметить, что попытки сделать гуманитарные науки точными повторялись неоднократно, начиная с «Этики» Спинозы, изложенной математическим методом, — и в XX в. возник ряд новых математических дисциплин: эконометрика, социометрика и т.п. Математика широко применяется и в ряде вспомогательных исторических дисциплин. Вопрос, однако, в том, можно ли математическими методами решить кардинальные вопросы истории. Есть ли математический подход к проблеме *целостности* — личности, культуры, эпохи, события? Да и всякой целостности, в том числе физической?

В XX в. *одновременно* идут два встречных процесса: с одной стороны, математизация гуманитарных наук, с другой — гуманитаризация точных[3]. Точное мышление все жестче осознает свои рамки: это мышление в строго определенных понятиях и ясное понимание границ познаваемого. Однозначны точные науки в решении частных, обособленных проблем. Как только мы доходим до проблемы целого, истина раздваивается. Есть несколько геометрий, есть теорема Геделя, доказывающая, что не может быть единственной истинной системы (ибо истинность системы не может быть доказана внутри ее самой). Есть принцип дополнительности в физике. И чем дальше, тем *больше* таких отклонений от классической математики и классической физики. «Так и понимается всеми».

Однозначность ответа — функция логически корректных операций с однозначными (т.е. банальными) предметами мысли. Чем банальнее, тем точнее[4]. Можно предсказать поведение покупателя на рынке, но нельзя предсказать глубинных психических срывов. Кто мог предсказать поджог кинотеатра в Абадане? Экономический человек должен был радоваться развитию хозяйства Ирана. А целостный человек дал пинка хрустальному зданию. Это ретроградство, это столкнуло процветавшую страну в хаос, но зато по своей, научно не познанной, глупой воле. Здесь, по-видимому, была для иранцев какая-то своя, самая выгодная выгода. Если можно угадать ее, то разве перечитывая «Записки из подполья»... Математики подпольный человек не слушается.

Тайна истории уходит в тайну личности. Мы не можем договориться, кем был Николай II — святым, ничтожеством, идиотом... Как же рассчитать взаимодействие Петра I и Обломова, Рогожина и Мышкина, Пугачева и Савельича? Даже органическая молекула (не такая уж сложная штука) ведет себя так, словно одновременно находится в нескольких состояниях (ср.теорию резонанса). В этой вселенной (само возникновение которой было, по-видимому, неожиданно: теория первоначального взрыва), где неожиданно (вопреки вероятию) возникла жизнь, человек (происхождение которого до сих пор никем не объяснено), современное общество (вдруг возникшее на Западе и никак не возникающее на Востоке), трудно представить себе длинную цепь событий, в которой каждое звено с логической неизбежностью вытекает из предыдущего. Я думаю, что история полна неожиданностей и дает широкий простор личности. Возможны ли походы Чингисхана, изменившие лицо мира, без Чингисхана? Наполеоновская империя без Наполеона? Возможна ли партия Ленина-Сталина без Ленина и Сталина? Кто мог предвидеть в 1924 году, что Сталин всех перехитрит? Полвека спустя, мы задним умом крепки. А для современников прочность большевистской диктатуры была такой же ошеломительной неожиданностью, как для нас — приход к власти Хомейни.

Одна из тайн истории — превращение белого в черное, зла — в добро. У Александра Исаевича большевики с самого начала похожи на чертей и удерживаются у власти одним: террором. Но ведь для террора нужен аппарат. Нужны энтузиасты и фанатики, готовые идти работать в ЧК. Как создать аппарат террора с помощью одного только террора? Это все равно, что вытащить себя из болота за волосы.

Старики рассказывали мне, как приезжали на фронт Троцкий или Зиновьев и за час превращали толпу, готовую разбрестись по домам, в войско, охваченное энтузиазмом... Революция жила пафосом борьбы со старым злом, со «старым прижимом», с веками угнетения и бесправия, и большевистские ораторы, растравляя незримые следы от помещичьих розг на солдатских спинах, заряжая своей пламенной верой в светлое будущее (сейчас это штамп, вызывающий тошноту, а тогда — живая идея), могли создать систему средств власти, ставшую через несколько лет мощным инерционным телом со своей собственной, внеличной логикой...

Есть замечательная статья С.Л.Франка «По ту сторону правого и левого». Она написана была в 1927 г., но до сих пор не только не устарела, но даже и не понята. Правыми, рассуждает

Франк, были консерваторы, левыми — революционеры. Но вот власть переменилась, существующий строй — большевистский, свергнуть его хотят монархисты. Бывшие левые — сегодняшние правые, бывшие правые стали левыми. Не лучше ли отказаться от двоичной классификации? И Франк предлагает троичную. Белыми он называет либералов, сторонников самодержавия — черными, социалистов красными. Гражданская война описывается в этих терминах как коалиция белых и черных против красных. Но все коалиции неустойчивы, и возможны другие сочетания, например черносотенного с красногвардейским (пережив 1949 год, я охнул от восторга: какое предвидение!).

Цветовая символика Франка напоминает классификацию ндембa, исследованную В.Тернером. Статья Франка — косвенное подтверждение тезиса Тернера, что обломки бело-красного мышления сохранялись во всех культурах и время от времени «припоминаются», всплывают из подсознания в сознание. У ндембa (как у Августина) есть безусловное благо, но нет безусловного зла. Благо описывается белым цветом (дух света и жизни). Красное — цвет крови (жизни) и пролития крови (смерти). Черное — цвет трупа и земли, порождающей новую жизнь (смерть, но в глубине смерти воскресение). Оба термина амбивалентны. Можно выявить амбивалентность небелого и у Франка. Красное и черное для него сами по себе не зло и не благо. Они хороши до тех пор, пока уживаются с белым (у Франка дух свободы, но за духом свободы, как и у ндембa, стоит дух жизни). Умеренно красное — динамизм, умеренно темное — стабильность...

Архаические культуры не выделяют различных видов темного и обычно рисуют темное синим цветом, так же далее будем поступать и мы. Неумеренно черное (синее) — застой и гниение, неумеренно красное — ярость разрухи. Вчерашнее зло, не меняя цвета, может стать благом. Решает не цвет, а оттенок. И в этой смене оттенков решает личность. Решают люди — своей неожиданной, из глубины бытия возникающей волей. (Вдохновленной Богом — или дьяволом, — но не простой логикой событий).

При двоичном мышлении решает цвет: красное (зло) или белое (добро)? При троичном важнее оттенки. В терминах символики Франка-Тернера я могу сказать, что предпочитаю светлые тона, а розовое или голубое мне все равно; лишь бы не темное, лишь бы не крайность революции и контрреволюции. Разумеется, бывает положение, когда светлого выбора нет вов-

се. Тогда приходится воевать за Сталина, чтобы не победил Гитлер. В рукопашной схватке жизненная задача сводится к «или — или». Здесь справедлива бинарная логика (кто не с нами, тот против нас). Но и сражаясь можно внутренне стоять выше сражения. И с этой внутренней высоты (к которой Кришна звал Арджуну) видеть, как меняются оттенки партийных знамен. Как (на больших перегонах истории) то революция, то контрреволюция, то правое, то левое становятся относительным благом (светлеют, белеют) и как вчерашнее светлое темнеет. Белое же само по себе не воюет и не побеждает, а только окрашивает красное (и синее).

Развивая схему Франка-Тернера, я назвал бы дореволюционный либерализм розовым, а послереволюционный — голубым. Либерализм не сражается на баррикадах и вступает в коалицию либо с революцией, либо с контрреволюцией. За союз с революцией его клеймит Александр Исаевич. Но мне либерализм дорог сам по себе, с кем бы он ни дружил. С точки зрения Александр Исаевича, я розовый, пособник красного, а он белый (в обычном, бинарном понимании, т.е. антикрасный). С моей точки зрения, я сам белый (во франковском, троичном понимании символики цвета). Для Солженицына мир резко делится на темное и белое, на абсолютное добро и абсолютное зло, поэтому надо доказать, что белое движение было белым во всех отношениях, рыцарским без страха и упрека (отсюда перепечатка в «Вестнике РХД» старой, 20-х годов, статьи П.Б.Струве, оправдывающей погромы). Поэтому надо доказать, что русская революция была антирусской, что ее совершили инородцы против воли русского народа (отсюда публикация в «Вестнике» статьи секретаря Солженицына М.Бернштама, доказывающей эту истину математически). Поэтому надо вывести, что социализм — источник всех смертных грехов, в том числе геноцида (и опять М.Бернштам доказывает это с помощью цифр). Но идеолог, пытаясь доказать свои аксиомы, вступает на тонкий лед: при первых контраргументах лед рушится.

Было бы лучше не считать, сколько инородцев служило в Красной Армии, а просто повторять фантастические цифры, которые приобрели силу предрассудка в эмиграции первого поколения. С предрассудками спорить невозможно, а подсчет выносит корни идеологии на свет разума. О.Максудов подсчитал иначе, поаккуратнее, и оказалось, что инородцев было совсем немного. Тогда Бернштам ответил, что, сколько бы ни было инородцев и иностранцев, они служили в заградотрядах с пулеметами, а именно эти заградотряды заставили Красную Ар-

мию победить. Рассуждая подобным образом, я берусь доказать, что прорвал фронт белых под Орлом и гнал их до Черного моря не Семен Михайлович Буденный, а Исаак Эммануилович Бабель.

Невольно мне вспомнилась другая дискуссия — между историками-марксистами, пытавшимися решить вопрос, существовала ли на Востоке рабовладельческая формация. Сторонники рабовладения высасывали из истории древнего Китая и древней Индии подходящие цифры, аболиционисты ставили все под сомнение. Одни указывали на распространенность термина «даса» (примерно говоря — раб), другие возражали, что слово это встречается большей частью в религиозном контексте и Калидаса (раб Кали) вовсе не был рабом (так же как смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир). И вообще, слово «даса» употреблялось очень расплывчато. Оно могло означать и раба, и слугу. Древние индийцы различали три вида ума, а раба и слугу (к отчаянию историков-марксистов) смешивали. В конце концов один из сторонников умозрительной схемы исторического процесса (не то Тюрин, не то Тюляев) нашел забавный выход из положения. Он признал, что рабов в Индии было немного (факт очевидный), но так как рабство существовало, то каждый бедняк чувствовал себя под угрозой стать рабом, быть обращенным в рабство... Бросалось в глаза, что гораздо легче найти рабовладельческую формацию в Соединенных Штатах или в России около 1850 г.: цифры здесь надежные и внушительные. Но они никому не нужны, не вовремя торчат. Точно так же, читая Бернштама, бросалось в глаза, что легче было доказать роль инородцев (Троцкого, Вацетиса, Фрунзе) в *организации* Красной Армии и *воодушевлении* ее бойцов. Но это опять не нужно. Какой организаторский гений, какое воодушевление в черном деле? Террор, террор и еще раз террор!

Мих.Бернштам никогда на войне не был, и ему невдомек, что ни одного сражения заградительные отряды не выиграли, ни одного прорыва немецких танков (или конницы Мамонтова и Шкуро) не остановили. Ловили себе дезертиров — и все тут А кто хотел сдаться в плен — как заградительный отряд мог этому помешать?

Что касается геноцида, то цифры, приведенные М.Бернштамом, решительно ничего не доказывают. Геноцид — это истребление народа. Является ли политика раскулачивания 1919 г. геноцидом? Да, если казаки особый народ. Нет, если это не так. У Бернштама же основные понятия крайне сбивчивы. Он сообщает

нам, что у донских казаков есть некоторые этнографические особенности, следовательно, *можно* считать их особым народом. Можно, если очень хочется; а хочется потому, что геноцид престижное слово (с обратным знаком, но очень престижное: прямо на Нюрнбергский процесс). Но хватает ли этнографических особенностей казачества, чтобы отделить его от русского народа в особый этнос? Этот вопрос Бернштам вообще не разбирает...

Политика расказачивания напоминала раскулачивание (проводившееся 20 лет спустя). И слово похоже, и суть примерно та же: ликвидировать как класс. Как класс, но не как нацию! При полном равнодушии к логике можно и раскулачивание назвать геноцидом и уже называлось — М.Скуратовым (не тем, который удавил св. Филиппа, а нынешним публицистом); он говорил о «геноциде» русской интеллигенции и крестьянства (мелькнуло в Самиздате; цитирую по памяти[5]). Мих. Бернштам на это не способен, он все же понимает разницу между нацией и классом. Или, говоря по-гречески, между геносом и стратой. Отчего же не ввести новое, не престижное, но зато точное слово — стратоцид? Массовое убийство не сводится к одному типу. Геноцид — уничтожение народа (хотя бы очень маленького). Коллективизация, по оценке самого Сталина в разговоре с Черчиллем, унесла 10 млн. жизней. Назывались и другие цифры (до 15 млн.). Но генодицом это не было, а истребление цыган Гитлером *было* геноцидом, хотя цыган немного и, помнится, никто даже не посчитал, сколько их убили (считали только евреев). После полемики Бернштам — Максудов итоги расказачивания, подсчитанные Бернштамом, вызывают у меня мало доверия. Скорее всего они завышены. Но суть дела не в этом. Все равно стратоцид, даже гигантский, не становится геноцидом.

Между тем М.Бернштам, в эйфории от проделанных исчислений, раскрывает основную мысль статьи. Оказывается, и немецкие национал-социалисты проводили геноцид только потому, что они *социалисты*. Националисты же в геноциде неповинны. Следовательно, геноцид целиком и полностью есть порождение социализма, начиная с расказачивания на Дону и кончая Майданеком.

Однако политика геноцида проводилась в султанской Турции в 1915-1916 гг., хотя ни султан, ни младотурки социалистами не были. Слова «геноцид» тогда еще не придумали, но армян резали и вырезали.

Однако геноцидом было истребление гереро в Юго-Западной Африке (в доброе старое время — еще до первой миро-

вой войны). Социалисты протестовали против колониальной бойни в рейхстаге и на митингах; его величество кайзер плевал на их протесты. Подобных фактов в истории колониализма довольно много. Все они в схему Бернштама не укладываются.

Геноцид так же стар, как война. Мне попалась под руку заметка об одной племенной войне (не очень давней; но так воевали и 10 000 лет тому назад). Остатки побежденных загнали в пещеру, развели у входа большой костер и задушили дымом. Даже «И.Г.Фарбениндустри» не понадобилось.

3000 лет тому назад геноцид еще не считался преступлением, он входил в обычное право войны — и Бог говорил Моисею: «Истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе: да не пощадит их глаз твой...» (Второзаконие 7, 16).

Я предвижу возражения: то, что было очень давно, вытеснено из нравственного сознания, забыто. Важно то, что геноцид возрожден в XX в. Это верно, но все-таки армян в Турции резали националисты, а не социалисты. И гереро истребляли не социалисты... К сожалению, человечество не было потрясено этим. Да и турецкие зверства отнесли за счет азиатской дикости: на нашу совесть, совесть цивилизованных европейцев, они не легли. Однако армяне помнят прошлое не хуже, чем Освенцим. И гереро ничего не забыли. Ничего крупнее в истории для них не было. Вообще, геноцид навис только над малыми народами. Счет на миллион здесь редкость. Сталин мог поголовно сослать крымских татар и пр., но с украинцами пришлось разбираться в индивидуальном порядке, по ст.58-1 (измена Родине) и 58-3 (сотрудничество с оккупантами). Стратоцид в России или в Китае дает более внушительные цифры, чем геноцид. Значит ли это, что геноцид — меньшее преступление, чем ликвидация кулачества?

Я не хочу сказать, что стратоцид лучше. Оба хуже. Но источники геноцида и стратоцида в XX в. — в разных теориях, в разных идеологиях. (Впрочем и та и другая — из области «полунауки», как говорил когда-то Достоевский). Любая идея, принятая за абсолютную истину, ведет к массовым убийствам (иноверцев, аристократов, дикарей, кулаков). И никакая математика не дает гарантии от пены на губах. Наоборот: признак математически бесспорной истины — обычное самооправдание нравственной слепоты.

Поэтому претензию А.И.Солженицына на однозначную истинность его понимания революции 1917-го года я решительно отвергаю. Она не выдерживает ни этической, ни интел-

лектуальной критики. Бросается в глаза, на каких тонких ножках шествовала историческая необходимость. Иногда достаточно болезни и смерти одного человека, чтобы все переменилось...

Конечно, Рутштейн был глуп, очень глуп. Но ведь иногда и ослица пророчествует. Проблема, поставленная Рутштейном, в сущности, очень стара. Что было бы, если бы нос у Клеопатры оказался несколько короче? Влюбился бы в нее Антоний? Что было бы, если бы Богров промазал? Или Фанни Каплан не промазала? Какая закономерность в том, что Володарского и Урицкого убили, а Ленина только ранили? Удержались бы большевики у власти без Ленина? Вопрос отчасти праздный, но любопытный[6].

А если бы уцелел Столыпин? Или если бы Николай после Столыпина сумел найти толкового министра? Или если бы Гучков опередил революцию (как он пытался сделать) и заменил Николая другим царем, поумнее и без паралича воли? Или если бы Ленин прожил 74 года, а Сталин — 54? Почему Ленина хватил удар в самом разгаре культурной революции (и сразу прекратились процессы церковников, эсеров)? А Сталину все сходило с рук и Шахтинское дело, и промпартия, и ликвидация кулачества (с закрытием церквей и пр.). Почему только дела врачей не попустил Бог? Какая логика помешала процессу убийц в белых халатах? Народ заранее ликовал, газеты завалены почтой Лидии Тимашук — но лопнул какой-то сосудик в мозгу, и все пошло насмарку, и расстрелян был Рюмин, и Вовси вышел на свободу:

Дорогой товарищ Вовси,
Ты нам друг и брат,
Как теперь сказали, вовсе
Ты не виноват.

«Но вот какой вопрос меня беспокоит: если Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на Земле?

— Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план, хотя бы

на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, — тут неизвестный повернулся к Берлиозу, — вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими, и собой, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... — тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, — да, саркома, — хмурясь, как кот, повторил он звучное слово, — и вот ваше управление закончилось!... А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, — тут иностранец прищурился на Берлиоза, — пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что, неизвестно почему, вдруг поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собой управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то другой?»

Человек предполагает: «Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом, в десять часов вечера, в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

— Нет, этого быть не может, — твердо возразил иностранец. — Это почему? — Потому... что Аннушка купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила...» [7].

Я думаю, что траектории, по которым летели пули, решившие судьбу Столыпина и Ленина, не более вытекают из законов истории, познаваемых человеком, и не более могут быть выведены из характера действующих лиц, чем пролитое подсолнечное масло Аннушки. Если мы хотим видеть в истории что-то большее, чем ряд нелепых случайностей, то надо признать наличие — рядом с человеческой волей — каких-то сверхчеловеческих сил, подстраивающих нужные случаи. И человек действует не совершенно свободно, а следовательно, и не совсем виноват. Он, может быть, и виновен, но заслуживает снисхождения... По крайней мере иногда заслуживает. По крайней мере некоторые заслуживают. (Александр Исаевич, как всегда, обвиняет: Милюкова, Керенского, Ленина, Троцкого, интеллигенцию вообще... Я выступаю в привычной для меня роли адвоката.)

Тут перед нами проблема, над которой век за веком бьются богословы. Есть предопределение (необходимость) и есть свобода воли, но как они совмещаются?

Александр Исаевич очень просто решает задачу. До февраля — совершенная свобода воли. Следовательно, виноваты. А с 12 марта 1917 г. (по новому стилю) заработала машина необ-

ходимости и покатилась прямо к ликвидации кулачества как класса. Следовательно, Керенский, отправив Николая II в Сибирь, виновен не только в расстреле цесаревича Алексея, но и в смерти от голода нескольких миллионов крестьян в начале 30-х годов. Самодержавие вполне могло пережить падение Германской империи, Австро-Венгерской империи, колониальных империй Голландии, Франции и Португалии. Достаточно было послушать кого следует и не слушать кого не следует. И сейчас, — если бы послушать кого следует, если вся Россия прочла «Архипелаг», — мировое зло рухнуло бы, как карточный домик; или несколько раньше — вождям ничего не стоило бы переменить идеологию и мирно преобразить Россию советскую в Россию православную.

Выгоды такой концепции очевидны. Нет никаких «объективных причин» (как говорили в начале 30-х годов), никаких непреодолимых препятствий на пути исторического сдвига. Весь детерминизм — для них, а для нас полная свобода рук. Может быть, плохое объяснение мира, но зато какое руководство к действию!

Однако если понимать теорию иначе — как созерцание, то в мысли А.И.Солженицына есть свои неудобства. Как-то странно видеть весь детерминизм усевшимся, вроде стайки птиц, в середине жердочки, а слева и справа оставившим пустоту индетерминизма. Не правильнее ли в любую эпоху видеть и детерминизм и индетерминизм, и свободу личности и инерцию исторических тел? Я думаю, что и после 1917 года оставался простор для внезапных поворотов.

В ходе гражданской войны советская власть несколько раз висела на волоске. Те, кто ждал, что большевики не продержатся больше трех недель, были вовсе не глупы. По законам истории (которые были основаны на аналогии с прошлыми революциями) и по здравому смыслу так непременно должно было быть. Но законы истории оказались опровергнуты, здравый смысл опровергнут, а большевики остались в Кремле. Простая последовательность фактов не всегда логична. То, что побеждает, не всегда самое вероятное. Иногда побеждает невероятное. Несостоявшееся было возможно, но боги оказались не на его стороне, и оно не состоялось.

Когда гражданская война кончилась и наступил НЭП — почему стабилизация не продолжалась? В 1927-1928-м казалось, что победила линия Бухарина — на врастание кулака в социализм и на союз с социал-демократами против фашистов. Понадобилось исключительное искусство интриги,

чтобы превратить большинство партии в меньшинство, отправить в Тьмутаракань учеников Бухарина, вернуть из ссылок учеников Троцкого и с их помощью провести «сверхиндустриализацию за счет крестьянства». Пытаюсь представить себе это без Сталина... нет, не могу. Умри Сталин в 1933 г. — и тогда можно было повернуть (как в Китае после смерти Мао Цзэдуна. Наши Дэн Сяопины были еще живы). Почему Бог попустил этому извергу жить до 1953 года?

Если можно говорить о времени, зажатом в тиски необходимости, то это послесталинское. За 10 лет большого террора (1929-1939) Сталин уничтожил почти все, способное к исторической инициативе, в том числе идейное ядро собственной партии. Право поворота, право неожиданного шага он сохранил только за собой. И после его смерти оказалось, что инерция созданного механизма сильнее любого властителя[8]...

Мне кажется, что достаточно узок был и веер свободы самодержавия в последние десятилетия его исторической судьбы. Вопрос мог идти только о времени катастрофы. Без войны, в затянувшееся мирное время развязка бы не торопилась и, весьма возможно, цвела бы экономика. Но опыт Ирана показывает, что экономический расцвет не снимает социальных проблем, отчасти он их даже создает. И где-то, когда-то архаичный режим, не имевший прочной опоры ни в одной массовой партии (группы Пуришкевича и Маркова 2-го были достаточно слабыми), непременно обречен был рухнуть. В век массовых партий самовластие тоже должно быть партийным (однопартийным), иначе оно держится на талантах одного человека — и рушится, оказавшись в руках бездарности.

Кое-что в истории можно сосчитать и доказать. Но самое главное не поддается счету. Яичница бывает из двух, трех или нескольких яиц. А Божий дар? Попытка однозначно, математически точно интерпретировать историю в целом напоминает мне сложение Божьего дара с яичницей. Выходит два, но чего? Две счетные единицы. Два предмета мысли. Проще сказать: ничего не выходит. Метод общей историографии — скорее метахудожественный (создание картины, модели, основанной на интуитивном проникновении в хаос фактов). И Александр Исаевич Солженицын убеждает нас именно так: создавая картины событий... Но таких картин можно создать десятки. От плюрализма никуда не уйдешь.

Глава 2. Поэты-свидетели. Максимилиан Волошин

Возьмите любой исторический роман, написанный достаточно давно, и вы сразу почувствуете в нем два времени. Рядом с Ричардом Львиное Сердце и Людовиком XI непременно присутствует сэр Вальтер Скотт, джентльмен начала XIX века, со своими идеями, очень далекими от средних веков. Так это даже у писателя беспристрастного, объективного, рисующего тори и вигов, не становясь целиком на сторону тех или других. Что же говорить о картине прошлого, нарисованной пером страстным, пристрастным, партийным! В лучшем случае это блестящая речь прокурора, за которой слово должно быть предоставлено защите. Солженицын сплошь и рядом заставляет меня быть адвокатом героев, которых я не люблю, но признаю людьми, а он — просто мразью. Я не верю, что горстка мрази могла перевернуть мир. Я вызываю свидетелями поэтов-современников. Во-первых, они современники, живущие духом того времени, а не нашего, и картины, которые они рисуют, — исторические свидетельства (а не конструкции, созданные задним числом из фактов прошлого, но нынешнего духа). Во-вторых, они поэты, т.е. схватывают целое непосредственно, в нескольких ярких образах, одним скачком интуиции, делая ненужной долгую (и всегда спорную) работу отбора, сравнения и монтажа фактов. И эти прозрения ближе к сути вещей, чем любые построения, даже опирающиеся на целый Монблан фактов.

Для меня важно, что большинство поэтов не верит в жизнеспособность самодержавия. И важно то, что перспективы революции каждый чувствует и сознает по-своему. Видимо, предопределена была катастрофа. А что будет после — все только смутно угадывали. Начиналась полоса, окрашенная индетерминизмом. Могло быть и то, и другое, и третье...

Первым свидетелем я вызываю Максимилиана Волошина. Может быть, потому, что его влияние я испытал, когда только начали складываться мои собственные взгляды. Помню, как поразил эпиграф «Северовостока»: «Благословляю тебя, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя...» В этот миг я впервые почувствовал реальность Провидения, ведущего историю какими-то своими, неисповедимыми путями. И тут же вторая молния — взгляд на единство характера русской истории: не саркастический, как у Щедрина, а с какой-то недоступной мне прежде высоты:

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах дух самодержавья,
Взрывы революции в царях...

Тут не только Грозный или Петр, тут открылась народная душа и силы, прорвавшиеся сквозь нее:

Расшумелись, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек...

Вихрь срывает людей с насиженных мест, несет их — может быть, к пропасти, а может быть, через пропасть... Люди — щепки, подхваченные норд-остом, не вольны — их несет ураган, смерч, против которого нельзя выстоять. Но этот смерч, этот ураган пришел не извне. Прежде чем вырваться на волю, он прошел через русскую душу. И не первый раз...

Один из истоков революции — русский характер, его безудерж, его открытость бездне. Так чувствовал революцию и Блок (в «Двенадцати», в «Скифах»). Так предчувствовал ее Тютчев:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!

Так глядел в лицо бездне и Пушкин:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог...

И так же чувствует Даниил Андреев в одной из камер Владимирской тюрьмы — тридцать лет спустя после «Северовостока» (ср. его стихотворение «Размах»).

Мои современники (Лихачев, Непомнящий и другие) сводят русскость к чему-то тихому, идиллическому. Поэты — современники революции склонны к противоположному. В множестве русских типов они подчеркивают Пугачева, а не Савельича, Рогожина, а не Мышкина, Петра (или Иоанна), а не кроткого Федора Иоанновича. В их восприятии революция — это взрыв

русского безудержа, русского размаха, отклик глубины русской души на «мировой пожар».

Мировой — это слово у Блока не случайно. И для него, и для Волошина, и для Ахматовой «настоящий XX век» начался не с февраля и не с октября 1917-го года, а с 1914-го. Я думаю, что они правы. Не социалисты, а их величества Вильгельм, Франц-Иосиф и Николай развязали бесов, которые кружатся до сих пор (в Иране, в Кампучии). Марш через нейтральную Бельгию, бомбардировка прославленного собора, морская блокада и пуск в ход отравляющих газов были первыми шагами тотальной войны (как это назвали четверть века спустя), победоносной веры в безудержное насилие как единственный способ решения всех проклятых вопросов. До 1914-го года были разговоры, пробы, опыты. А тут великие нации (не какой-нибудь Бакунин или Нечаев) открыто пошли путями Каина. Если «Северовосток» открыл передо мною глубины русской истории, то поэма Волошина «Путями Каина» открывала другую перспективу: мировой истории, мирового духовного кризиса, втянувшего Россию в свой круговорот.

В русской революции сошлось слишком много, и Волошин сам почувствовал, что стихи его — «Северовосток», «Путями Каина» и другие только записи отдельных прозрений. Ему захотелось как-то свести все воедино. И весной 1920 г., еще до конца гражданской войны, он прочел лекцию «Россия распятая». Формально это обзор собственного творчества с историческими, философскими и биографическими комментариями. Однако прозаический текст (до сих пор неизвестный) оказался чем-то новым, своего рода упанишадой, возникшей по следам гимнов. Я не знаю другого текста, в котором с таким блеском раскрылся талант поэта-мыслителя.

Лекция начинается с философского введения.

«Поэту и мыслителю, — пишет Волошин, — совершенно нечего делать среди беспорядочных столкновений, хотений и мнений, называемых политикой.

Но понятие современности и истории отнюдь не покрывается словом политика. Политика — это только очень популярный и очень бестолковый подход к современности. Но следует прибавить, что умный подход к современности весьма труден и очень редок.

Необходимо осознание совершающегося. Каждый жест современности должен быть почувствован и понят в связи с действиями переживаемого акта, а каждый акт — в связи с развитием всей трагедии.

И актер, и зритель могут быть участниками политического действа, ничего не зная о содержании последующего акта и не прочувствуя финала трагедии. Поэт же должен быть участником замысла самого Драматурга. Важнее отдельных лиц для него общий план развертывающегося действия, архитектурные соотношения групп и характеров и очистительное таинство, скрытое Творцом в замысле трагедии... Гибель героя для него так же драгоценна, как и его торжество (...)

Поэт, отзывающийся на современность, должен совместить в себе два противоположных качества: с одной стороны, аналитический ум, для которого каждая новая группировка политических обстоятельств является математической задачей, решение которой он должен найти *независимо от того, будет ли оно согласовываться с его желаниями и убеждениями* (курсив мой. — *Г.П.*). С другой же стороны, глубокую религиозную веру в предначертанность своего народа и расы. Потому что у каждого народа есть свой мессианизм, другими словами, представление о собственной роли и месте в общей трагедии человечества[9]. Первое — это логика развития драматического действия, которой подчиняется сам драматург, а второе — это причастность к творческому замыслу Драматурга.

Нет ничего более трудного, как найти слова, формулирующие современность. Художественное слово, и особенно слово ритмическое, не выносит той условной, поверхностной газетной правды, в которой изживается нами каждый текущий миг. Для того чтобы увидеть текущую современность в связи с общим течением истории, надо суметь отойти от нее на известное расстояние. Обычно оно дается временем, но чтобы найти соответствующую перспективную точку зрения теперь же — в текущий миг, — поэт должен найти ее в своем миросозерцании, в своем представлении о ходе и развитии мировой трагедии (...)

Февраль 1917-го застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с еще большим увлечением и с большим правом торжествовали «бескровную революцию», как было принято выражаться в те дни. Первого марта Москва прочла Манифест об отречении от престола Николая II. Обычная общественная жизнь, прерванная тремя днями тревоги, продолжалась по инерции. На этот день было назначено открытие посмертной выставки Борисова-Мусатова. И выставка открылась (...)»

После выставки Волошина пригласили посмотреть собрание икон древнего письма у купца-старообрядца.

«Хозяин действительно оказался знатоком, и у них с Грабарем тотчас же разгорелся горячий разговор, и тот, воодушевляясь, вел нас по более укромным закоулкам, хвастаясь потаенными сокровищами. Только мимо некоторых он проходил, роняя с небрежностью: «Ну, эти и смотреть не стоит, — это совсем новенькие: времен Алексея Михайловича...» (...)

Это глубокое пренебрежение к искусству времен первых Романовых как к непростительной новизне, наивно высказанное в тот самый день, которым закончилась династия, было поразительно. Я не преувеличу, если скажу, что изо всех впечатлений, полученных в дни Февральской революции, оно было самым глубоким и плодотворным. Оно сразу создавало историческую перспективу, отодвигая целое трехсотлетие русской истории в глубину и позволяя осознать историю дома Романовых и петербургский период как отжитый исторический эпизод.

Следующее, еще более глубокое впечатление пришло через несколько дней.

На Красной площади был назначен революционный парад в честь торжества революции.

Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова: «Без аннексий и контрибуций».

Благодаря отсутствию полиции, в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые расположились по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексее человеке Божием.

Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня, может быть подготовленного уже предыдущим, эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачевые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обагренных кровью всей Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской земли, нового Смутного Времени (...)»

В этом настроении Волошин написал стихотворение «Москва»:

Во рву у места лобного
У церкви Покрова
Возносят неподобные
Нерусские слова.
По грязи ноги хлюпают.
Молчат. Подходят. Ждут.
На папертях слепцы поют
Про кровь, про казнь, про суд.

«Перспективная точка зрения, необходимая для поэтического подхода, — продолжает Волошин, — была найдена: этой точкой зрения была старая Москва, дух русской истории. Но эти стихи шли настолько вразрез с общим настроением тех дней, что их немыслимо было ни печатать, ни читать. Даже в ближайших мне друзьях они возбуждали глубочайшее негодование»[10].

В эти же дни — первые дни марта — среди писателей проводилась анкета на тему: республика или монархия? У меня нет под руками точного текста моего ответа, в свое время появившегося в упомянутой брошюрке, но смысл его был таков:

Каждое государство вырабатывает в себе форму правления согласно чертам своего национального характера и обстоятельствам своей истории. Никакая одежда, взятая напрокат, никогда не придет нам по фигуре. Для того чтобы совершить этот выбор, России необходим прежде всего личный исторический опыт, которого у нее совершенно нет благодаря нескольким векам строгой опеки. Поэтому вероятнее всего, что сейчас она пройдет через ряд социальных экспериментов, оттягивая их как можно дальше влево, вплоть до крайних форм социалистического строя, что и психологически, и исторически желательно для нее. Но это отнюдь не будет формой окончательной, потому что впоследствии Россия вернется на старые исторические пути, т.е. к монархии, видоизмененной и усовершенствованной в сторону парламентаризма.

Должен прибавить, что этот прогностик был дан мне в те дни, когда Ленин еще не успел вернуться в Россию и угроза большевизма еще не намечалась.

Первая часть моих тогдашних предположений осуществилась, в осуществлении второй я не сомневаюсь.

Эпоха Временного правительства психологически была самым тяжелым временем революции. Февральский переворот фактически был не революцией, а солдатским бунтом, за которым последовало быстрое разложение государства[11]. Между тем обреченная на гибель русская интеллигенция торжество-

вала Революцию как свершение всех своих исторических чаяний; происходило трагическое недоразумение: вестника гибели встречали цветами и плясками, принимая его за избавителя. Русское общество, уже много десятилетий жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки (падение династии, отречение, провозглашение Республики) за сущность события и радовалось симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления. Эти месяцы были вопиющим и трагическим противоречием между всеобщим ликованием и реальной действительностью. Все дифирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени были нестерпимой ложью. Правда — страшная, но зато подлинная обнаружилась только во время октябрьского переворота. Русская революция выявила свой настоящий лик, также назревавший с первого дня ее, но для всех неожиданный.

Как это случилось?

Недоразумение началось значительно раньше Если нам удастся отрешиться от круга интеллигентских предрассудков, в котором выросли все мы (...), то мы должны признать, что главной чертой русского самодержавия была его революционность: в России монархическая власть всегда была радикальнее управляемого ею общества. И всегда имела склонность проводить революцию сверху, старалась административным путем перекинуть Россию на несколько столетий вперед, согласно идеалам прогресса своего времени, прибегая для этого к самым сильным насильственным методам в духе застенков Александровской слободы и Преображенского приказа. Так было во времена Грозного, так было и во времена Петра[12]

Но революционное самодержавие нуждалось в кадрах помощников и всегда стремилось создать для своих нужд служилое сословие: то Опричнину, то Дворянство. Петр, наскоро сплотив дворянство для своих личных нужд, в то же время озаботился созданием другого, более устойчивого класса, который мог бы впоследствии обслуживать революционное самодержавие. Для этого им был заброшен в русское общество невод Табели о рангах, и его улов создал разночинцев. Из них-то, смешавшись с более живыми элементами дворянства, через столетие после смерти Преобразователя выкристаллизовалась русская интеллигенция.

Но XIX век принес с собой вырождение династии Романовых — фамилии, которая, в сущности, изжила свое цветение до вступления на престол и в борьбе за него, а к XIX веку окончательно деформировалась под разлагающим влиянием немецкой крови (...)[13].

Таким образом, тот именно класс народа, который был вызван к жизни самой монархией для государственной работы, был ею же отвергнут, признан опасным, подозрительным и нежелательным. В государстве, всегда испытывавшем нужду в людях, образовался тип «лишних людей». И в их ряды вошло, естественно, все наиболее ценное и живое, что могла дать русская культура того времени.

Таким образом, правительство века, перестав следовать исконным русским традициям русского самодержавия, само выделило из себя революционные элементы и вынудило их идти против себя. В этом ключ к истории русского общества второй половины XIX века. И все мы, поскольку мы причастны духовно русской интеллигенции, все мы несем в себе последствия этой ссоры и недоразумения этого разлада.

Когда наступила разруха семнадцатого года, революционная интеллигенция принуждена была убедиться в том, что она плоть от плоти, кость от кости русской монархии и что, свергнув ее, она подписала этим самым свой собственный приговор, так как бороться с нею она могла только в ограде крепких стен, построенных русским самодержавием, но раз стены рушились — она становилась такой же ненужной, как сама монархия. Строить стены и восстанавливать их она не умела. Она готовилась только к тому, чтобы их расписывать и украшать. Строить новые стены пришли другие, незваные, а она осталась в стороне[14].

В сложном клубке русских событий 17-го года средоточием драматического действа был Петербург, бывший основной точкой приложения революционного самодержавия Петра. Престол Петербургской Империи был сколочен Петром на фигуру и на весь рост медного исполина. Его же занимали карлики.

Вы знаете, конечно, что спиритические явления основаны на том, что медиум, опоражнивая свою волю и гася сознание своей личности, создает внутри себя духовную пустоту, и тогда те духи, те сущности, которые всегда теснятся и кишат вокруг человека, устремляются в распахнутые двери и начинают творить бессмысленные и бесполезные чудеса спиритических сеансов. Духи эти, разумеется, — духи не высокого полета: духи-звери, духи-идиоты, духи-самозванцы. Это же происходило в последние годы старого режима, когда в пустоту державного средоточия ринулись Распутины, Илиодоры и их присные. Импровизированный спиритический сеанс завершился в стенах Зимнего дворца всенародным бесовским шабашем семнадцатого года, после которого Петербург сразу опустел, вымер согласно древнему заклятию последней московской царицы: «Питербурху быть пусту!» (...)

Когда в октябре 1917 года с русской революции спала интеллигентская идеологическая шелуха и обнаружился ее подлинный лик, то сразу начало выявляться ее сродство с народными движениями давно отжитых эпох русской истории. Из могил стали вставать похороненные мертвецы, казалось, навсегда отошедшие страшные исторические лики по-новому осветились современностью.

Прежде всего проступили черты Разинщины и Пугачевщины (...) Наравне с Разинщиной еще более жуткой загадкой ближайшего, может быть, завтрашнего дня вставала самозванщина на фоне смутного времени (...)[15].

И вот, несмотря на все отчаяние и ужас, которыми были проникнуты те месяцы, в душе продолжала жить вера в будущее России и ее предназначенность (...).

В русской революции прежде всего поражает ее нелепость. социальная революция, претендующая на всемирное значение, разражается прежде всего и с наибольшей силой в той стране, где нет никаких причин для ее возникновения: в стране, где нет ни капитализма, ни рабочего класса.

Потому что нельзя считать капиталистической страну, занимающую одну шестую часть всей суши земного шара, торговый оборот которой мог бы свободно уместиться, даже в годы расцвета ее промышленности, в кармане любого американского миллиардера.

Рабочий же класс, если он у нас и существовал в зачаточном состоянии, то с началом Революции он перестал существовать совершенно, так как всякая фабричная промышленность у нас прекратилась.

Точно так же и земельного вопроса не может существовать в стране, которая обладает самым редким населением на земном шаре и самой обширной земельной территорией (...)

На наших глазах совершается великий исторический абсурд. Но credo quia absurdum est! В этом абсурде мы находим указание на провиденциальные пути России.

Темны и неисповедимы
Твои последние пути,
И не допустят с них сойти
Сторожевые серафимы (...)

С Россией произошло то же, что происходило с католическими святыми, которые переживали крестные муки Христа с такой полнотой веры, что сами удостаивались получать знаки

распятия на руках и ногах. Россия в лице своей революционной интеллигенции с такою полнотой религиозного чувства созерцала социальные язвы и будущую революцию Европы, что, сама не будучи распята, приняла своею плотью стигмы социальной революции. Русская революция — это исключительно нервно-религиозное заболевание (...)[16].

Русская жизнь и государственность сплавлены из непримиримых противоречий: с одной стороны, безграничная, анархическая свобода личности и духа, выражающаяся во всем строе ее совести, мысли и жизни; с другой же — необходимость в крепком железном обруче, который мог бы сдержать весь сложный конгломерат земель, племен, царств, захваченных географическим распространением империи.

С одной стороны — Толстой, Кропоткин, Бакунин, с другой — Грозный, Петр, Аракчеев.

Ни от того, ни от другого Россия не должна и не может отказаться. Анархическая свобода совести ей необходима для разрешения тех социально-моральных задач, без ответа на которые погибнет вся европейская культура; империя же ей необходима и как щит, прикрывающий Европу от азиатской угрозы, и как крепкие огнеупорные стены тигля, в котором происходят взрывчатые реакции ее совести, обладающие страшной разрушительной силой.

Равнодействующей этих двух сил для России было самодержавие. Первый политический акт русского народа — призвание варягов — символически определяет всю историю русской государственности: для сохранения своей внутренней свободы народ отказывается от политических прав в пользу приглашенных со стороны наемных правителей, оставляя за собой право критики и невмешательства.

Все формы народоправства создают в частной жизни тяжелый и подробный контроль общества над каждым отдельным его членом, который совершенно несовместим с русским анархическим индивидуализмом. При монархии (последних десятилетий — *Г.П.*) Россия пользовалась той политикой свободы частной жизни, которой не знала ни одна из европейских стран. Потому что политическая свобода всегда возмещается ущербом личной свободы — связанностью партийной и общественной.

При старом режиме запрещенным древом познания добра и зла была политика. Теперь, за время революции, пресытившись вкусом этого вожделенного плода, мы должны сознаться, что нам не столько нужна свобода политических действий, сколько свобода от политических действий. Это мы показали

наглядно, предоставляя во время революции все более ответственные посты и видные места представителям других рас, государственно связанных с нами, но обладающих иным политическим темпераментом[17].

Поэтому нам нечего пенять на евреев, которые, как народ, более нас склонный к политической суете, заняли и будут занимать первенствующее положение в русской государственной смуте и в социальных экспериментах, которым будет подвергаться Россия[18].

Насколько путь самодержавия является естественным уклоном государственного порядка России, видно на примере большевиков. Являясь носителями социалистической идеологии и борцами за крайнюю коммунистическую программу, они прежде всего постарались ускорить падение России в ту самую пропасть, над которой она уже висела. Это им удалось, и они остались господами положения. Тогда, обернувшись сами против анархических сил, которыми они пользовались до тех пор, они стали строить коммунистическое государство.

Но только лишь они принялись за созидательную работу, как против их воли, против собственной идеологии и программы их шаги стали совпадать со следами, оставленными самодержавием, и новые стены, ими возводимые, совпали с только что разрушенными стенами низвергнутой империи. Советская власть, утвердившись в Кремле, сразу стала государственной и строительной: выборное начало уступило место централизации, социалисты стали чиновниками, канцелярское бумагопроизводство удесятерилось, взятки и подкупность возросли в сотни раз, рабочие забастовки были объявлены государственным мятежом и стачечников стали беспощадно расстреливать, на что далеко не всегда решалось царское правительство, армия была восстановлена, дисциплина обновлена, и в связи с этим наметились исконные пути Московских царей — собирателей Земли Русской, причем принципы интернационализма и воззвания к объединению пролетариата всех стран начали служить только к более легкому объединению расслоившихся областей Русской Империи.

Внутреннее сродство теперешнего большевизма с революционным русским самодержавием разительно. Так же как Петр, они мечтают перебросить Россию через несколько веков вперед, так же как Петр, они хотят создать ей новую душу хирургическим путем; так же как Петр, цивилизуют ее казнями и пытками: между Преображенским приказом, Тайной канцелярией и Чрезвычайной комиссией нет никакой существенной разницы;

отбросив революционную терминологию и официальные лозунги, уже ставшие такими же стертыми и пустыми, как «самодержавие, православие, народность» недавнего прошлого, по одним фактам и мероприятиям мы не можем дать себе отчета, в каком веке и при каком режиме мы живем.

Это сходство говорит не только о государственной гибкости советской власти, но и о неизбежности государственных путей России, о том ужасе, который представляла собой русская история во все века. Сквозь дыбу и застенки, сквозь молодецкую работу заплечных мастеров, сквозь хирургические опыты гениальных операторов выносили мы свою веру в конечное преображение земного царства, в церковь, во взыскуемый Град Божий, в наш сказочный Китеж — в град невидимый, — скрытый от татар, выявленный в озерных отражениях (...)

Молитва поэта во время гражданской войны может быть только за тех и за других: когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев (...)

Мир строится на равновесии. Две дуги одного свода, падая одна на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа, две партии, противопоставленные друг другу в устойчивом равновесии, дают точку опоры для всего здания. Полное поражение и гибель одной из партий грозит провалом и разрушением всему зданию. Гражданская война говорит только о том, что своды русского царства строятся высоко и крепко, но что точка взаимной опоры еще не найдена.

Один из обычных оптических обманов людей, безумных политикой, в том, что они думают, что от победы той или иной стороны зависит будущее. На самом же деле будущее никогда не зависит от победы принципа, так как партии, сами того не замечая, в пылу борьбы обмениваются лозунгами и программами, как Гамлет во время дуэли обменивается шпагой с Лаэртом. Борьба уподобляет противников друг другу (...)

Какое же конкретное историческое будущее ожидает Россию независимо от исхода борьбы раздирающих ее партий?

Это будущее определяется не внутренними, а внешними обстоятельствами (снова логический скачок, но скачок плодотворный. — *Г.П.*).

С половины XV века судьбы Восточной Европы определялись нависшей над христианским миром угрозой турецкой опасности. Возникновение Турецкой империи создало на юге два щита: Австрию и Россию (...)

Австрия распалась безвозвратно (не только в один год, но и в один месяц с Турцией), а если у нас есть надежды на то, что

самостоятельность русских окраин будет преодолена, то потому только, что перед Европой встает на Дальнем Востоке древней исторической угрозой призрак монгольской опасности, который потребует новой имперской спайки племен, населяющих великую Русскую равнину и Сибирь.

На этом основывается наше предположение, что Россия будет единой и останется монархической (*по сути* — хочется добавить. — *Г.П.*), несмотря на теперешнюю социалистическую революцию. Им ничто, по существу, не мешает ужиться вместе.

Социализм тщетно ищет точки опоры, чтобы перевернуть современный мир. Теоретически он ее хотел найти во всеобщей забастовке и неугасимой[19] революции. То и другое не скала, а трясины; и то и другое — анархия, а социализм сгущенно государственен по своему существу (...)

Он неизбежной логикой вещей будет приведен к тому, что станет искать ее (точку опоры. — *Г.П.*) в диктатуре, а после в цезаризме (...). Все очень широкие демократические движения, ведущиеся в имперском и мировом масштабе, неизбежно ведут к цезаризму. Для русского же самодержавия, только временно забывшего революционные традиции Петра, отнюдь не будет неприемлема самая крайняя социалистическая программа. Я думаю, что тяжелая и кровавая судьба России на путях к Граду Невидимому проведет ее еще и сквозь социал-монархизм, который и станет ключом свода, возводимого теперешней гражданской войной (...).

Мой единственный идеал — это Град Божий. Но он находится не только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времен. Путь к нему — вся огромная крестная история человечества.

Я не могу иметь политических идеалов потому, что они всегда стремятся к наивозможному земному благополучию и комфорту. Я же могу желать своему народу только пути правильного и прямого, точно соответствующего его исторической, вселенской миссии. И заранее знаю, что этот путь — путь страдания и мученичества. Что мне до того, будет ли он вести через монархию, социалистический строй или через капитализм, все это только различные виды пламени, проходя через которые перегорает и очищается человеческий дух»[20].

Развитие пошло несколько иначе, чем Волошин представлял себе. Нечто вроде цезаризма возникло в рамках советской власти (то, что официально было названо культом личности Сталина). Это, однако, не противоречит основной концепции Волошина, его пониманию параметров русской истории, в рам-

ках которых остается известная свобода, известное поле игры случайностей. К этим случайностям поэт безразличен. Если победит большевизм (как и случилось), он непременно усвоит традиции самодержавия. Если победит монархия, то только усвоив традиции большевизма (но гениальных политиков, способных овладеть революцией, у белых не оказалось). Волошин еще не может спросить: почему? Весной 1920-го само событие еще не вполне совершилось. Я тоже не знаю: почему? Видимо, Ленин и Троцкий и потом Сталин были медиумичны каким-то духам, искавшим воплощения. Каким духам? Это выходит за рамки моего понимания. Знаю только, что сейчас эти духи иссякли, что сегодня дуют другие ветры.

Глава 3. Поэты-свидетели. Борис Пастернак

Я не хочу цитировать «Доктора Живаго». Это замечательный роман но только о *разочаровании* в революции, великий памятник русской духовной жизни 40-х и 50-х годов, но не 10-х и 20-х. Непосредственный отклик на события, предшествовавшие революции, отпечатавшиеся в сознании поэта и со всей пастернаковской свежестью вылившиеся на бумагу, я нахожу скорее в «Охранной грамоте».

Переходя к Пастернаку, мы сразу попадаем в другой мир. Это естественно: что бы поэт ни писал, он раскрывает самого себя и ничего другого делать не может. Поэтому Флобер в «Мадам Бовари» и в «Саламбо» остается одним и тем же Флобером, а Томас Манн — Томасом Манном: и посвистывая пневмотораксом в «Волшебной горе», и ворочая пласты мифов в «Иосифе и его братьях». Так и Борис Леонидович Пастернак: он всюду и во всем «пастерначен». И все же лирическое свидетельство современника есть свидетельство *историческое*. Достаточно вынуть пару страничек из текста (где они теряются в общем потоке метафор, несущихся водопадом в стороне от политических страстей) и прочитать их вслед за лекцией Волошина, как бросается в глаза проницательное изображение пустоты, обреченности самодержавия, неизбежности его краха.

«Никто не знал, что это правит Карл Стюарт или Людовик XVI. Почему монархами кажутся по преимуществу последние монархи? Есть, очевидно, что-то трагическое в самом существе наследственной власти.

Политический самодержец занимается политикой лишь в тех редких случаях, когда он Петр. Такие примеры исключительны и запоминаются на тысячелетия. Чаще природа ограничивает

властителя тем полнее, что она не парламент, и ее ограничения абсолютны. В виде правила, освященного веками, наследственным монархом зовется лицо, обязанное церемониально изживать одну из глав династической биографии и только. Здесь имеется пережиток жертвенности, подчеркнутый в этой роли оголеннее, чем в пчелином улье.

Что же делается с людьми этого страшного призвания, если они не Цезари, если опыт не перекипает у них политикой, если у них нет гениальности — единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной?

Тогда не скользят, а поскальзываются, не ныряют, а тонут, не живут, а вживаются в щекотливости, низводящие жизнь до орнаментального прозябания. Сначала в часовые, потом в минутные, сначала в истинные, потом в вымышленные, сначала без посторонней помощи, потом с помощью столоверчения.

При виде котла пугаются его клокотанья. Министры уверяют, что это в порядке вещей, и чем совершеннее котлы, тем страшнее. Излагается техника государственных преобразований, заключающаяся в переводе тепловой энергии в двигательную и гласящая, что государства только тогда и процветают, когда грозят взрывом и не взрываются. Тогда, зажмурясь от страха, берутся за ручку свистка и со всей прирожденной мягкостью устраивают Ходынку, кишиневский погром и Девятое января и сконфуженно отходят в сторону, к семье и прерванному дневнику («устраивают», разумеется, не в прямом смысле. Обычная у Пастернака метафоричность слога. — *Г.П.*).

Министры хватаются за голову. Окончательно выясняется, что территориальными далями правят недалекие люди. Объясненья пропадают даром, советы не достигают цели. Широта отвлеченной картины ни разу не пережита ими. Это рабы ближайших очевидностей, заключающие от подобного к подобному. Переучивать их поздно, развязка приближается. Подчиняясь увольнительному рескрипту, их оставляют на ее произвол.

Они видят ее приближение. От ее угроз и требований бросаются к тому, что есть самого тревожного и требовательного в доме. Генриэтты, Марии-Антуанетты и Александры получают все больший голос в страшном хоре. Отдаляют от себя передовую аристократию, точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшения его комфорта. Обращаются к версальским садовникам, к ефрейторам Царского Села и самоучкам из народа, и тогда всплывают и быстро подымаются Распутины. Никогда не опознаваемые капитуляции монархии перед фольклорно понятым народом, ее уступки веяньям времени, чудо-

вищно противоположные всему тому, что требуется от истинных уступок, потому что эти уступки только во вред себе, без малейшей пользы для другого, и обыкновенно как раз эта несуразность, оголяя обреченную природу страшного призвания, решает его судьбу и сама чертами своей слабости подает раздражающий знак к восстанию»[21].

В этой обстановке вопиющего неразумения рассудок становится неотразимо привлекательным и даже поэтичным. Вера в утопию распространяется, как эпидемия. Строгая, логично покорная законам разума, она кажется лучше жизни, выше жизни и достаточным основанием для ломки жизни, бытийственнее серого, пошлого быта. Сколько бы ни пинал ее ногами человек, сколько бы ни обличал рассудочную сухость, — когда живешь в болоте, пустыня кажется раем. Так же как нам, жителям пустыни, раем кажется болото.

Глава 4. Поэты-свидетели. Вл. Ходасевич

Революция показалась выходом из исторического тупика, отрицанием и старого, и нового гнилья, старорежимной тупости и буржуазной пошлости. Недавно опубликованные письма В.Ходасевича Б.Садовскому поражают (от кого-кого, но от Ходасевича этого никто не ждал). Оказывается, романтика переворота захватила — и надолго, на несколько лет — не только символистов и футуристов и крестьянских поэтов, но даже будущего желчного критика белого коридора, у которого в жилах (как тогда шутили) тек муравьиный спирт. 17 декабря 1917 г. Ходасевич пишет:

«Дайте вот только перемолоться муке. Верю и знаю, что нынешняя лихорадка России на пользу. Но не России Рябушинских и Гучковых, а России Садовского и ... того Сидора, который является обладателем легендарной козы. Будет у нас честная трудовая страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. И в конце концов монархист Садовской споется с двухнедельным большевиком Сидором, ибо оба они сидели на земле, а Рябушинские в кафельном нужнике. Не беда, если Садовскому-сыну, *праправнуку* Лихутина, придется самому потаскать навоз. Только бы не был он европейским аршинником, культурным хамом, военно-промышленным вором. К черту буржуев, говорю я. Очень хорошо, если к идолу Садовского будут ходить пешком, усталыми ногами. Не беда, ежели полузгают у подножия сего истукана семечек. Но не хочу, чтобы вокруг был разбит «сквер» с фешенебельным бардаком под

названием «Парижьен» (вход только во фраках, презервативы бесплатно). Сквер — штука скверная, это доказуемо и филологически, как видите. Туда ездят в автомобилях.

И кое-что из хорошего будущего мы еще с вами увидим...»

Года полтора спустя, 24 марта 1919 г., бросается в глаза оскомина: «Живем, как полагается: все служим, но плохо, ибо хочется писать, а писать нельзя, потому что служим... Валерий записался в партию коммунистов, ибо это весьма своевременно. Ведь при Николае II он был монархистом, Бальмонт аттестует его кратко и выразительно: подлец. Это неверно, он не подлец, а первый ученик, у нас в гимназии таких били без различия оттенков...» Прислуживание власть имущим Ходасевича шокирует. Однако в следующем письме (от 3 апреля 1919 г.), в ответ на отказ Б.А.Садовского участвовать в советских изданиях, следует еще панегирик ломке старого быта:

«Понимать я Вас, сколько умею, пойму: это лирически. А практически, простите, не беру в толк. Что жизнь надо перестроить, Вы согласны. До нашего времени перестройка, от Петра до Витте, шла сверху. Большевики поставили историю вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком, и перестройка снова пошла сверху: диктатура пролетариата. Если Вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью. Я понимаю рабочего, я по какому-то, может быть, и пойму дворянина, бездельника милостию Божиею, но рябушинскую сволочь, бездельника милостию собственного хамства, понять не смогу никогда. Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых, Чулковых и прочую «демократическую» погань. Дайте им волю, и они «учредят» республику, в которой президент Рябушинский будет пасти народы жезлом железным, сиречь аршином. К черту аршинников! Хороший барин, выдрав на конюшне десятка два мужиков, все-таки умел забывать все на свете «средь вин, сластей и аромат». Думаю, что Гавриил Романович мужиков в Званке драл, а все-таки с небес в голосах раздавался. Знаю и вижу «небесное» сквозь совдеповскую Чрезвычайку. Но Россию, покрытую братом Жанны Гренье, Россию, «облагороженную» «демократической возможностью» прогрессивного выращивания гармонических дамских бюстов, — ненавижу, как могу. Я боюсь, что молодежь Ваша к тому идет. Вот что страшно. Я понял бы Вас, если бы Вы мечтали о реставрации. Поймите и Вы меня, в конце концов приверженного к Совдепии. Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо

это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно. Вот Вам и все».

Год спустя, 10 февраля 1920 г., — тому же адресату: «Просить у меня прощенья Вам почти не за что. Немного обидно мне было прочесть Вашу фразу: «Я не знал, что Вы большевик». Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу. Но вы знаете, что раньше я большевиком не был да и ни к какой политической партии не принадлежал. Как Вы могли предположить, что я, не разделявший гонений и преследований, некогда выпавших на долю большевиков, могут примазаться к ним теперь, когда это не только безопасно, но иногда, увы, даже выгодно? Неужели Вы не предполагали, что, говоря Вам о сочувствии большевизму, я никогда не скажу этого ни одному из власть имущих. Ведь это было бы лакейством, и я полагаю, что Вы не сочтете меня на это способным».

Комментируя «ужас Ходасевича перед пошлостью буржуазии», составительница книги приводит текст рекламы, ставшей для современников Ходасевича символом наступающей пошлости: «Каждая из вас, уважаемые читательницы, может развить свой бюст, увеличить его или из вялого сделать упругим и гармонически развитым благодаря моему новому способу, методу Гренье. Я счастлива, что имею возможность без применения запрещенных внутренних средств одним женщинам дать, а другим независимо от возраста вернуть и восстановить упругость и красоту форм...» и т.д., и т.п. (напечатано в «Утре России», 1912 г., и потом неоднократно перепечатывалось)[22].

Видимо, не один Ходасевич готов был и на новое крепостное право, и на большевизм — только бы не «распивочно и на вынос»... Есть что-то общее в реакции Ходасевича и в реакции массы иранцев, шарахнувшихся к Хомейни от фотографии шахини в мини-юбке. Что угодно, только не это! вот чувство, которое определило настроение значительной части интеллигенции. Я думаю, это очень помогло и Ленину, и Хомейни и может при случае помочь их наследникам.

В поэтологии Ходасевича объявление Жанны Гренье — нечто вроде «красного комода», из-за которого лирический герой Блока выбрасывается из окна (мотив, всплывший в позднем эмигрантском стихотворении: «Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, но иной»). Поэт (и не только поэт), почувствовав запах пошлости, готов прыгнуть в окно, в революцию, в террор (пусть земле под ногами попомнится, кого хотела опошлить...). Я думаю, что именно из красного комода

выпрыгнуло благословение ножу в «Двенадцати»... Ходасевич был сильнее в сопротивлении стихийному началу. Он ни разу не выступал *публично* в защиту большевизма. Его свидетельство даже интереснее, чем вопль Маяковского; можно сравнить его со словами старцев Гомера, осуждавших Елену, виновницу гибели стольких доблестных троянцев, — и вдруг, когда она воочию прошла перед ними, воздавших хвалу ее красоте. Если даже трезвейший, культурнейший Ходасевич, враг футуристов, строгий критик цветаевской захваченности и захлеба, так рвется в бездну, то сколько их было, захваченных стихией в 1917-1920 гг.? И как понять события тех лет, закрывая глаза на всю захваченность, глядя на вино глазами человека, которого мутит и рвет?

Глава 5. Поэты-свидетели. Мандельштам

Судя по дошедшим до меня пересказам, Александр Исаевич Солженицын обставляет выстрел Богрова такой же мрачной торжественностью, как Михаил Ильич Ромм — выстрел Фани Каплан в фильме «Ленин в 1918 году». И делает вывод, что вся судьба России, Европы, человечества решилась в один миг. Однако историография, которая подчеркивает значение политического убийства, упускает из виду другие случаи, когда убийство ничего не изменило. Цезарь был убит, но республику не удалось восстановить, и после нескольких лет смуты имперский порядок вновь утвердился. Генрих IV был убит, а нантский эдикт остался в силе. Сколько было уби-то американских и французских президентов, я даже не припомню.

Если выстрел Гаврилы Принципа взорвал европейский мир, то потому, что мир этот держался на волоске, и война чуть не началась на три года раньше из-за прыжка «Пантеры» (немецкой канонерской лодки, бросившей якорь в Агадире). Судьба истории оказывается в руках террориста только в одном случае: когда порядок подгнил и готов рухнуть от первого толчка. Случись Богрову промазать, черти воспользовались бы другим орудием. Столыпин — не венценосец, его можно было просто уволить. Неужто Петр Аркадьевич стал бы заискивать перед Гришкой Распутиным? А в случае конфликтов со старцем, от которого зависела жизнь наследника-цесаревича, Николай скорее всего прогнал бы строптивого министра. Выстрел Богрова только ускорил уход Столыпина с политической сцены.

Так обстоит дело перед судом холодного разума. Что касается художественного впечатления от события, на которое на-

правлено несколько разноцветных прожекторов, то в другом тексте прожекторы можно переставить и высветить другую точку. Например, 9-е января. В статье «Кровавая мистерия 9-го января» Осип Мандельштам передает свое впечатление современника, резко противоречащее концепции Александра Исаевича. Выслушаем и этого свидетеля:

«Сколько раз разбивалась процессия петербургских рабочих, докатившись до последней роковой заставы, сколько раз повторялась мистерия 9-го января? Она разрослась одновременно на всех концах великого города, — и за Московской, и за Нарвской заставой, и на Охте, и на Васильевском, и на Выборгской.

Вместо одного грандиозного театра получилось несколько равноправных маленьких. И каждый из них справлялся самостоятельно со своей задачей: обезглавлением веры в царя, цареубийственным апофеозом, начертанным кровью на снегу. Любая детская шапочка, рукавички или женский платок, брошенный в этот день на петербургских снегах, оставались памяткой того, что царь должен умереть, что царь умрет.

Может, во всей летописи русской революции не было другого такого дня, столь насыщенного содержанием, как 9-е января. *Сознание значительности этого дня в умах современников перевешивало его понятийный смысл, как нечто грозное, тяжелое, необъяснимое* (Курсив мой. — *Г.Л.*).

Урок 9-го января — цареубийство — настоящий урок трагедии: нельзя жить, если не будет убит царь. Девятое января — трагедия с одним только хором, без героя, без пастыря. Гапон стушевался, как только началось действие, он был уже ничем, он был уже нигде. Столько убитых, столько раненых — и ни одного известного человека... Хор, забытый на сцене, брошенный, предоставленный самому себе... Кто знает законы греческой трагедии, тот поймет — нет более жалкого, более раздирающего, более сокрушительного зрелища. В ту самую минуту вспыхнула вся трагическая глубина сознания народных масс; когда засвистели пули, люди бросились врассыпную и попадали на землю в зверином страхе, забывая друг о друге.

Характерно, что никто не слышал сигнальных рожков перед стрельбой. Все отчеты говорят, что их прослышали, что стреляли как бы без предупреждения, никто не слышал, как прозвучал в морозном январском воздухе последний рожок императорской России — рожок ее агонии, ее предсмертный стон. Императорская Россия умерла, как зверь, — никто не слышал ее последнего хрипа.

Девятое января — Петербургская трагедия; она могла развернуться только в Петербурге — его план, расположение его улиц, дух его архитектуры оставили неизгладимый след на природе исторического события. Девятое января не удалось бы в Москве, центростремительная тяга этого дня, правильное движение по радиусам от окраины к центру, так сказать, вся динамика Девятого января обусловлена архитектурно-историческим смыслом Петербурга.

Архитектурная идея Петербурга неизбежно приводит к представлению мощного центрального единства. Всеми своими улицами, облупленными, желтыми и зелено-серыми, Петербург естественно течет в мощный гранитный водоем Дворцовой площади, к красной подкове зданий, рассеченной надвое глубокой меднобитной аркой с взвившейся на дыбы ристалищной четвертней.

Люди не пошли к Медному всаднику на Сенатскую площадь, потому что с ним тягаться под стать только всей России, и тяжба с ним еще впереди. Люди шли на Дворцовую площадь, как идут каменщики, чтобы положить последний кирпич, венчающий их революционное строение.

Рабочие построили Зимний дворец — теперь они шли испытать царя.

Но это не удалось — царь рухнул, дворец стал гробом и пустыней, площадь — зияющим провалом и самый стройный город в мире — бессмысленным нагромождением зданий»[23].

Глава 6. Поэты-свидетели. Даниил Андреев

Даниил Леонидович родился в 1906 г. и революцию встретил мальчиком. Но первые впечатления углублялись всю его жизнь, до проникновения в духовные сферы, для нас закрытые или полузакрытые. Люди в «Железной мистерии» действуют не в условном духовно пустом пространстве мысли, а в облаках духовной тьмы, пронизанной лучами духовного света. Темные и светлые силы вторгаются в человеческую жизнь и подстраивают события так, чтобы привести к цели своих носителей. Мне кажется, что эти силы у Андреева чересчур независимы, и тупик необходимости не исчезает, а только переносится с земли на небо и в преисподнюю. От того, что уицраоры, игвы и рарутги перенимают роль производительных сил, социальной дифференциации и прогресса, человек еще не становится в центр истории. Но если интерпретировать образы Андреева как знаки сил, вырастающих из че-

ловеческого духа, из человеческого нравственного мира, из нравственного климата времени, то все меняется. Я представляю себе дело так: темные духи, направляющие руку своих «человекоорудий», раскармливаются нами самими, излучениями наших помыслов и страстей. А светлые духи укрепляются нашей любовью (или угнетаются ненавистью и духовным отупением). Сцепление социально-исторических причин решает не все (в этом я убежден). Гроза войны 1914-1918 годов и другие грозы разразились не из-за выстрела Гаврилы Принципа, не из-за соперничества держав и не из-за производительных сил, а потому, что над Европой нависло темное духовное облако, накопленное, видимо, мирным и благополучным буржуазным веком. Черные молнии обрушились из туч, созданных дыханием Гобсеков, Домби, мертвых душ, фаршированных голов. А когда начинаются разряды, они находят себе проводников, своих медиумов, свои человекоорудия. И этим человекоорудиям как-то помогают. Вполне вероятно, что силы, избравшие Ленина, помогали ему, подстраивали случаи, подсказали Парвусу помочь с пломбированным вагоном, а пулю Каплан направили чуть-чуть в сторону. И потом, когда советская власть достаточно окрепла, устранили Ленина, чтобы очистить дорогу Сталину... Я не ручаюсь, что картина, набросанная мною, совершенно точно соответствует событиям, но главное ведь не детали, не механизм, а то, что темное облако, из которого на нас сыплются молнии, создали мы сами. Наше дыхание творит атмосферу, в которой начинается событие. И решительный выход из цепи катастроф — изменить свое дыхание, очистить его. Это не значит, что борьба с очевидным злом во внешней, очевидной жизни не имеет смысла. Но только до тех пор, пока ярость не захватила сердце. Ибо ярость будит новую ярость. И самый малый сдвиг в сердцах важнее самых великих внешних побед.

Мир Даниила Андреева — фантастический и отчасти призрачный. Но созерцание андреевской картины событий помогает почувствовать, угадать действительные глубины, которые ни в какие образы, доступные реалистическому воображению, не укладываются.

Андреев начинает свою «Железную мистерию» с того же, что Волошин и Пастернак, — с внутреннего упадка самодержавия и его духовного оскудения. Августейший — ничтожество, приблизивший к себе развратного старца Саваофа. Слухи об оргиях «Саваофа» (т.е. Распутина) выползают из дворца и разносятся по столице:

«Во дворцовых подвалах — радение
И-их, наваждение...
— Ох,
ни зги...
— Подь, женишок-Саваоф.
Лей!
Жги!
Хлынь
в зло, в грех...
Ты накати-налети,
друг
дух!
Ты заверти-подхвати,
слей, двух
— Трех!
— Сто!
— Всех![24]

Духовная смута доносится до преисподней. Дьяволица смуты Велга, запертая духами имперской власти, просыпается и чувствует конец своего заточения.

Чьи мольбы
в мой
сон
Вкрадываются?
Чей призыв
в мой
мрак
Врезывается?

Слышу вновь
гул
толп
Взламывающихся,
Ропот волн,
вдоль
стен
Взлизывающихся
Узнаю
их
крик
Бешеный,

Иль мой срок
бьет
в склик
Башенный?

Старый Жругр (уицраор Российской империи) пытается подавить мятеж, но на него набрасываются его же отпрыски — Бледный, Бурый, Багровый и Черный. Побеждает Багровый жругрит. Он (как положено среди демонов) поедает сердце отца:

Кто не со мной
Завтра сгною
На мировом
Дне.
В пасть старика
Пищу мою
Больше не сметь:
Мне!

Человекоорудия Багрового жругрита начинают штурм цитадели. Велга вырывается на волю.

Наконец-то
загремел
срок
в медь
башенную!
Выхожу
госложой
в град
тьмой
прошенная!
Рвись за мной,
вой зверьем,
рой
зол
будущих,
Из глубин
скважин, недр,
нор, вверх
прядающих!

Человекоорудие Багрового жругрита воодушевляет толпу:

Крепость — на слом,
Извергов — в плен,
Кровью промыть
Край.
Масса! Вперед!
В кровь — до колен!
Штурм, но потом Рай.

Велга поддерживает и другого жругрита, Черного. Его щупальце принимает облик митингового оратора:

Эй, голь бродящая!
Бабы гулящие,
Подонки вольные,
Борцы подпольные,
Рванье безрентное —
Интеллигентное!
Кто спит без наволок!
Господ навыволок
До ближних проволок!

Отряды Багрового и Черного (временные союзники) теснят сторонников Бледного и Бурого жругритов (т.е., видимо, либералов и эсеров). Победители казнят Августейшего и его детей:

Голос Августейшего:
Зачем же мальчика... Боже!
Громовой:
Пли!

В преисподней торжествуют победу:

Пряма, как стержень, его дорога,
И тверд, как конус, грядущий строй.
Власть человека-противобога
Над всей землей.
Рожденный в видимости человечьей,
Пройдя геенну по пламенам,
Антихрист будет душою вечной
Подобен нам.
Как мы — разумный, но совершенный,
Ось бытия
и небытия,

Согласователь всех воль вселенной
В едином Я.

Однако торжество антихриста— только отдаленное предчувствие Пока на земле еще длится грубый разгул:

Бей фонтаном, кюрасо!
Ум ходи, как колесо!
Хоросо, брат, хоросо!
Весело!

Начинается борьба между анархией и диктатурой. Багровое человекоорудие, став Вождем, пытается подавить анархию террором. Толпа вопит:

— Как! На русского брата ж вы!
— Малюты Скуратовы!
— Аракчеев — ребенок. .
Случайных бабенок,
Врачей заслуженных,
Солдат обожженных,
Едва из окопов...
— Келадзе, Акопов...
— Двух стареньких прачек..
— Известный поручик..

Лямка выхватывает пачку людей.

Рев:
— Гад...— Рвут... — В гроб.
— В мать...
— Спрут... — Скот... — Сгыть.
— Смыть...
— В глаз — В пах — Рвань — Псы
— ... — А... — О ... — У ... — Ы ...

Черный больше не союзник Багрового. Отряды Бледного, Бурого и Черного штурмуют цитадель:

Первый:
За неделимую,
Жарко любимую,
Отчую родину — воины, в бой!

Второй:
За всенародный
Праздник свободный
Доктор, учитель, рабочий — в бой!
Третий:
Иродов новых
Вымучить в ковах,
Трупы волочь их! Вольница! В бой!

Силы защитников цитадели невелики. Однако среди нападающих нет согласия. Преисподняя, поддерживая Багрового жругрита и его человекоорудие, посылает «чуму духовную».

Нечто, не вполне ясное, происходит в воздухе... Точно сгустки тумана возникают и несутся, уплотняясь: то ли обретая человеческий облик, то ли совмещаясь с обликами живых...

Раздор губит противников Багрового. Растет всеобщее озверение. Картина, которую рисует Д.Андреев, несколько напоминает поэму Блока, но без ее духовной неточности: впереди Двенадцати Велга. «Метаистория гражданской войны» — один из лучших фрагментов «Железной мистерии» (привожу его целиком, со всеми ремарками автора):

Смутные голоса:
— Полновесной плати монетой:
никаких «бы»!
— Ярко-красной укрась метой
скотам
лбы!
— Мщенье сладостно, мщенье —
жгуче —
дрожит дух,
— Пой страданье врагов, мучь их,
коль рот сух!
Отряды Бурого (зверея):
— Откликаться на месть — местью..
— На ощеренную пасть — пастью!
— Переплевывать злость — злостью!
— Пересиливать власть — властью!
Голос Велги:
Горяча — сладка
кровь
плах
вздрагивающих!

Весела — тепла
дрожь
душ
вскрикивающих!
Словно струп в рот
боль
стай
вспугнутых.

Туманные сгустки появляются вдоль третьей трассы.

Шелестящие голоса:
— В шкуры... в шубы... в шали...
в мех
Мы, кто так дрожал...
— В дуплах теплых тел
тех,
кто в дом бежал...
— Эй, готовь сугрев —
жар,
сало, сгустки, фарш...
— В глубь домов, квартир
чрез
всех живущих — марш!
Голос Велги:
Тарнаба!
Грянь,
брыкающая!
Голытьба!
Хлынь,
цокающая!
Разрушай
столп
вызолоченный,
Разбросай
сор
выволоченный...
Перепляс:
Ночь взмахнула кистенями,
Разомкнула погреба,
Ой, ой, погреба,
Для вчерашнего раба.
А кому не хватит бочек,

Ныне настежь ***всякий дом,***
С белкой, с бархатом, с бобром.
Эй, вы, шкафики-славянки,
Сундучки да рундучки...
Без гитары, без тальянки
Сыпь чечетку, босячки.

В домах — **хлопанье дверей, топот ног по лестницам,** вскрики обывателей.

— Освободители!
Хоть нас не раньте...
— В убогих люлечках
Ребят не ***троньте!***
— Мы обнищавшие
Дарами жизни...
— Едва дышавшие
От казни к ***казни...***
Велга:
С вас сорву
гнет
всех
заповедей,
Оборву
бред
всех
проповедей!
Расточись, скарб
нор
вспугиваемых!
Распадись,
герб
ростр
сбрасываемых...
Голос Афродиты Всенародной:
Она мечется за мною,
однокрылая...
Она гонится за мною,
озверелая...
Чернь:
Разгуляй — гуляй,
Голытьба раздетая,
Голь разутая!

Наша ночь — черная,
Ветром вздутая!
***Одинокий голос** (запевая в глубине улицы):*
Непонятной, страшной свободой
Ночь России
глядит в упор,
Свищет лютою непогодой,
Плетью снежной сечет наш взор;
И в раздолье души пустынной
Запевает ветер Конца
Неумолчный и неустанный,
Как рокочущий рог
гонца.
Афродита Всенародная:
Очаги мои гаснут,
Лампы мирные меркнут,
Остывают все ложа...
Клекот Велги все ближе...
Яросвет!
Яросвет!

***Голос Демиурга Яросвета,** достигающий слуха едва-едва, с паузами, с провалами между отдельными словами:*

Каросса[25].
Помощь ---
не вправе дать ---
Из четырех --- я ни одному;
Не может ---
в каждом из четырех ---
не рдеть
Ядро,
притягивающее тьму.

***Прозревающий** напрягает все силы слуха. Ему кажется, что нечто в его существе приближенно и отрывочно переводит в слова то невыразимое, что едва улавливает его духовный слух.*

Броней эфирной укройте дух,
К борьбе готовьтесь
во всех мирах
Цель --- духом истины побороть
Наивеличайшего из четырех.

Голос Багрового:
Твой голос громче,
острей оружье,
И крепнет войско в стране родной.
Растлились души враждебных армий,
Их кровь в сосудах желта, как гной.
Теперь — на помощь
тем, кто в казарме
В атаку рвется: их мощь утрой!

Беседа Прозревшего с Даймоном *(в старом монастыре на окраине):*

— Видишь? Будто космических
Груд непомерных сыпь...
— Слышу: нечеловеческую,
Ухающую
поступь.
— Слышишь?
— камни взывают
от медного озноба?
— Вижу: цугом взмывают
Черные луны
в небо.

Ворота Цитадели распахиваются. Вооруженные потоки изливаются к устьям всех трасс, как лава вулкана. Над волной наступающих движутся туманные клубы.

Их голоса:

Цугом бряцающим
Шагом гарцующим
Цоком сдавливающим
Плиты расплющивающим
Подвигаемся!
Подвигаемся!

Крики разбегающихся горожан:
— Это — не люди...
— Это — не люди...
— Это — рои скорлуп!
— К морю... К ограде...
— Молись о чуде...
— Прячься в любой склеп!!!

Вторая волна туманных сгустков:
— В сознанье мечущихся
вобьем
наш
след.
— Рыданьем прячущихся
зальем
наш
глад.
— С роями пугающихся
учнем
наш
блуд.
— К сердцам подскакивая!
— Вкруг душ причмокивая!
Вскрики на улицах:
— Свет фонарей в ущербе...
— А я-то не понимал...
— Брось копошиться в скарбе!
— В гавань — на старый мол!
— Боже... час этой скорби
Все разметал... Все смял...
Крики в гавани:
— Стерва! Дубина!
Жри свой купон!..
— Трюмы — битком... иконы —
За борт ... Уж не до треб...
— А этот — разлегся: кинем
К рыбам: это лишь труп!
— Господи! За океаном
Каких не исходим троп...
— Прошу добром и законом:
Швырните для нас хоть трап!
Отряды Бледных и Бурых *(в паническом бегстве):*
— Вязкая мгла кругом
Обволокла наш булат..
— Кони ржут из трясин,
Засасываемые ко дну..
— Не бились с таким врагом
Ни дед, ни отец, ни брат...
— Прячься, младенец-сын!
Правнук! Спаси страну!

Толпа разбитых армий докатывается до мыса, вдающегося в море, взмывает на мыс — дальше отступать некуда. Последние пароходы выходят в открытое море.

Отстающие:

— Стойте! Куда мы... — Братья,
Там лишь обрыв крутой...
— Да, — кровью дедовской рати
Пропитанный, политой...
— Апофеозом столетий
Некогда был этот бой...
— Мы, господа, на закате
Нашей страны святой!

Но над страной давно уже не закат, а темная ночь. Во мраке можно разобрать только одно: лавина отступающих обрушивается с крутизны в море.

— Спасите!.. — Весло!.. — Плыви...
— Захлебываюсь...
— Прощай...
— Жене... на память любви...
— Сдох, сволочь! Таких прыщей
России не надо!.. — Брат,
С кормы хоть веревку брось...
— Так вот наш смертный парад...
— Опять ты хвастаешься?.. Брысь!
— Смотрите: сам генерал...
— И в щеку впился краб...
— Ни поп нас не отпевал,
— Ни мать не крестила в гроб.

Голоса тонут в темноте, слившей в одно мрак земной и небесный. Только слышно, как бурное море накатывается на подножия скал.

Прозревающий:

Вот каков закон уицраоров —
Демонический и тупой...
Полукружьями черного мрамора
Мнится взор его полуслепой.
Даймон:
Его ум тяжел: обнаружить его
В речи грузной, как дух свинца.

Прозревающий:
Вижу, он пожирает заживо
Братьев вздрагивающие сердца;
Поднимает взор
на взметывающуюся
Велги мглистую бахрому.
Даймон:
Ярость алчущей и бунтующей
Девы мрака
страшна ему.
Голос Багрового:
Поднимаю скалу сброшенную.
Ох, тяжела!
Ох, высока!
Волоку под тайницу башенную
Два шага —
Три шага —
(усиливающимся голосом, непререкаемо):
Пир окончен твой, Дочь дьявола!
Свейся в кольца
под покров тьмы.

Последние взвизгивания метели. Удар камня, замыкающего спуск в пустоты. Тишина.

Голос Афродиты Всенародной:
Ты пришел! Богатырь благословенный,
Мой жених, мой сын, мой желанный!
Ты — один, кто помнил о долге,
Победитель неистовой Велги.
Воздыхания капища игв:
Ох,
Доблестнейший...
Бог
Милостивейший...
Ух,
Царственнейший!
Багровый жругрит, теперь Жругр, новый уицраор:
Оденьте меня Цитаделью!
Обвейте мой стан — магистралью!
Украсьте меня — этим вымпелом!
Венчайте меня — этим куполом!!!

Тысячи игв и раруггов[26] возлагают гигантский куб литого золота на темя Жругра.

Возгласы:
Как велик, сверкающий!
Как высок!
Как широк, ликующий!
Как могуч!
Великий игва *(творя чары в верхнем ярусе капища):*
В мир человеческий, в город бурный
Сквозь толщи ввысь,
Струись незримый, инфрапурпурный,
Дух игв, струись!
Кристаллизующийся в ночном урочье,
Твердей, черней,
Стань в цитадели, как средоточье
Грядущих дней.
Устой Гагтунгра[27] в наземном мире,
Наш смысл и суть,
Рассудок наций взмани к химере
И тайной будь!»

Игвы — духи холодного государственного разума, безоговорочного служителя власти. Незримый дух игв захватывает нации и увлекает их к химере, в царство воплощенной утопии не-места и не-времени, втиснутых в пространство и время. В следующих актах рисуется, как утопия постепенно наступает и уродует жизнь, как господство, ставшее всем, иссушает собственные корни и рушится.

Реальные силы, скрытые оболочкой фактов, не открываются здесь во всей своей естественной (или сверхъестественной) природе — как казалось Андрееву, — но приоткрываются. Андреев прямо называет демонические силы демонами, дает им имена, облик. Это, может быть, игра воображения, но она освобождает нас от соблазна приписывать демоническую роль людям, которые на миг выбрасывались вверх волной событий, а потом рушились в бездну[23].

Пусть демоническое и ангельское выглядит не совсем так, как Жругр и Яросвет: не в этом дело. Все равно то, что голос Яросвета *с трудом и отрывочно* слышит Прозревающий, — это правда. И то, что человекоорудия демонических сил хорошо слышат их призывы, — тоже правда. Такова наша духовная

и нравственная атмосфера (а ее мы сами создаем). И это главное. И правда то, что исторические лица, не сознающие духовной атмосферы времени, сами не знают, куда идут. Их поведение в «Железной мистерии» (и в реальной истории Февраля или Октября) напоминает Анну Каренину, решившую ехать в театр слушать Патти — навстречу скандалу, и так же заслуживает скорее жалости, чем гнева. Лишен разума Николай, за шесть лет не сумевший найти порядочного премьер-министра. Лишены разума краснобай Милюков и другие ораторы Государственной Думы. Никто ничего не предвидел дальше завтрашнего дня. А кто краешек предвидел, то это полузнание шло во вред. Так, Распутин чувствовал, что за его смертью рухнет династия, — вот Николай и держался за него, пренебрегая общим мнением...

В этом безумии есть своя система. Обрыв исторической традиции плацдарм для прыжка в Утопию. Безумные, с точки зрения практика, шигалевские идеи овладели массами, потерявшими почву, становятся материальной силой. Партия, программа и практика которой приготовлены для прыжка в Утопию, оказалась на почве конкретной исторической реальности и смогла прийти к власти. Ее вождь Ленин обладал гениальным политическим чутьем и сумел не только захватить власть (почти обманом, в обстановке всеобщей путаницы понятий и лозунгов), но и удержать ее, дерзко распустив армию (которая могла его свергнуть), оставшись безоружным перед лицом немецких дивизий, способных дойти до Москвы, заключив похабный мир, против которого выступило большинство его собственной партии, — и в результате создал новую власть, окрыленную духом Утопии и обладающую энергией, достойной Петра Великого. Видимо, так было предначертано. Я не думаю, чтобы обязательными были сталинская коллективизация и сталинский террор, но так или иначе после Ленина Утопия была неизбежна, и с большими или меньшими жертвами Утопия обречена была дойти до абсурда и рухнуть.

Глава 7. Свобода нашей воли

А люди, участвовавшие во всем этом, — насколько они виноваты? Насколько они несут ответственность за свои поступки? Из какой этики исходить в их оценке? Из этики Канта, признавая решающим намерение, цель? Но почти все герои Февраля и Октября стремились к народному благу (как

они его понимали). Или из этики подсознательных желаний власти, славы, прятавшихся за масками осознанных целей? Или из последствий, не различая благородных энтузиастов ложной идеи от мерзавцев?

Я ставлю эти вопросы не риторически — они остаются открытыми перед человеческим умом и человеческой совестью. И каждый исследователь в каждом отдельном случае решает их заново.

Поиски виноватого заставляют Солженицына рисовать огромного Парвуса, оперирующего маленьким Лениным, как марионеткой. Александр Исаевич обижался, что историки не стали даже спорить с этой концепцией[29]. Но она действительно не заслуживает спора. Цели и намерения Парвуса 1917-1918 гг. имели для русской революции не большее значение, чем мореходные качества корабля, на котором генерал Бонапарт проскользнул из блокированного Египта во Францию. Почему-то волны берегут счастье Цезаря и доставляют его ладью (или пломбированный вагон) куда это нужно. Ленин нужен был для железной мистерии, и Провидение нашло подходящее орудие для доставки его на сцену; и не будь этого орудия, нашлось бы другое.

Революция, изменившая весь ход XX века, не могла совершиться без участия таинственных и непостижимых сил. И было бы непростительной самонадеянностью считать, что мы можем создать простую рациональную модель и однозначно все объяснить. Однозначному расчету и подсчету поддаются только инерционные системы. Непосредственный взрыв божественного творчества или демонического разгула подсчету не поддается. Невозможно измерить благодать, харизму — в том числе демоническую харизму, — вдруг полученную отдельными людьми, группами, народами. Историки до сих пор не могут объяснить взрыв энергии, с которым скандинавы вторглись в историю Европы и России. И вряд ли удастся на чисто человеческом уровне объяснить русскую революцию. Нездешние силы, вторгаясь в наши расчеты, все опрокидывают, и наивно винить Милюкова за одну из величайших в истории катастроф. Даже слишком много чести было бы в этом для Милюкова...

Готовясь к экзамену, я когда-то выучил наизусть старую схему: глупая буржуазия — умный пролетариат — крестьянство поняло — партия сумела — империализм сцепился[30]. Теперь предлагается новая схема, опять простая и ясная. И собирается новая гора фактов, чтобы ее подтвердить. Но факты всегда

можно переставить, сгруппировать по-новому. Дарвин и Маркс собрали очень много фактов, не меньше Солженицына, но антидарвинистов и антимарксистов они не убедили. Угол военного министерства Пингвинии обрушился под тяжестью улик против Перо; тем не менее Перо был оправдан. Я думаю, этим кончится и поход против либералов и плюралистов.

Однако дело не столько в прошлом, сколько в будущем. Солженицын пишет о прошлом, но он все время имеет в виду будущее. И вот здесь не как историк, а как политик — он ставит совершенно реальный вопрос: способна ли нынешняя Россия выдержать испытание свободой? Или опять повторится то, что было в 1917-м, — смута, выход из заточения Велги и новый уицраор? Допустим, мы не дали себя убедить, что виноград зелен. Допустим, мы убеждены, что виноград сладок, что парламентский режим лучше самодержавия. Из этого вовсе не следует, что он *практически возможен* в России. Опыт показал, что парламентаризм утвердился только в нескольких неевропейских странах (наперечет — в Японии, Индии, Шри-Ланке, Сингапуре). Во всех остальных он провалился. Не провалится ли он еще раз у нас — если боги дадут нам еще раз попробовать?

Не знаю. Наверное здесь ничего решить нельзя, и нельзя решать за всех сразу. Все, кто готов на риск свободы, уже сегодня рискуют (собственной головой). И создают традиции плюрализма. Где та пропасть, в которую бросают свободных людей? — спрашивает Эзоп в пьесе Лопе де Фигейредо «Лисица и виноград».

Плюрализм — это не просто много разных мнений. Это вера, что человек выше субботы, выше принципа, выше идеи. И, конечно, выше страха, сбивающего людей в покорное стадо. Создадут ли наши прыжки хорошее правительство? Честную администрацию? Не знаю, но это, может быть, не самое главное. Я верю, что Богу важнее другое: медленные сдвиги в сердцах людей.

1983-1984

Послесловие к «Проблеме Воланда»

— Обладает ли Маруся свободой воли? — спросила И.

— В тексте поэмы?[31] — переспросил я. — Или если представить все как в жизни?

— В поэме.

— В поэме у нее нет свободы воли, — ответила З. — Так написала Цветаева. А в жизни не так. Совершенно отдан стихиям зверь, и с него нет спроса. Совершенно свободен Бог А человек — движение от зверя к Богу. Он открыт страстям, но в него заложена и воля к свободе. Выстоять против ветра. Быть готовым использовать каждый миг тишины, чтобы вырваться из захваченности. У Маруси нет свободы воли, но она виновата в том, что ее потеряла. Виновна в том, что могла ее потерять. Виновна в том, что не подготовилась к вторжению стихии, не позаботилась о защите от нее...

Этот разговор переносит проблему Воланда в нашу собственную жизнь. Сейчас ничего не происходит[32]. Ни революций, ни контрреволюций. Но что-то происходит все время, и мы в этом участвуем. И накапливается захваченность. Накапливается хаос.

Каждый из нас, кто бы он ни был: мужчины и женщины, взрослые и дети, — либо втягивается в хаос, либо пытается высвободиться из него и создать свой остров свободы, свой маленький космос. Каждая минута, в которой гармония и тишина, — такой космос. Каждое стихотворение, каждая страница, исписанная нотами. Каждая попытка продумать свою жизнь и понять ее как духовный опыт.

«Молодец» — поэма о женской страсти. Но нет никакой границы, способной остановить поток ассоциаций. Когда Марину Ивановну спросили (после публичного чтения поэмы): «Это о революции?» — она ответила: «Это и есть революция». Ее поэма — о всякой захваченности и о трагической вине любой захваченности. Ибо всякая захваченность трагична, чем бы человек ни был захвачен: борьбой за справедливость или тоской Федриных уст.

Во всякой страсти действуют сверхчеловеческие силы, и бедный человек, которого они подхватили! Когда старуха-кормилица признается в своей вине и сама просит казни, Тезей отвечает:

Ведьма, не за что! Сводня, не за что!
Ты — над хрипами? Ты — над трупами?
Образумься, старуха глупая!
В мире горы есть и долины есть,
В мире хоры есть и низины есть,
В мире моры есть и лавины есть,
В мире боги есть и богини есть.

Ипполитовы кони и Федрин сук
Не старухины козни, а старый стук
Рока. Горы сдвигать — людям ли?
Те орудуют. Ты? Орудие.
Ипполитова пена и Федрин пот
Не старухины шашни, а старый счет,
Пря заведомая, старинная.
Нет виновного, все невинные!
И очес не жги, и волос не рви,
Ибо Федриной роковой любви
— Бедной женщины к бедну дитятку
Имя — ненависть Афродитина
К мне за Наксоса разоренный сад.
В новом образе и на новый лад
Но все та же вина покарана,
Молнья новая, туча старая.
Там, где мирт шумит, ве стоном полн,
Возведите им двуединый холм.
Пусть хоть там обовьет — мир бедным им!
Ипполитову кость — кость Федрина.

Заключительный аккорд гражданской войны в Испании напоминает финал цветаевской трагедии: в одну долину свезли трупы всех погибших, красных и белых, — и надо всеми поставили большой крест.

Трагедия оправдывает своих героев. Нет виновного, все невиновные! Нет в мире виноватых! Кто это сказал? Тезей, Лир, Шекспир, Цветаева? Здравый смысл бормочет: попадаются все-таки мерзавцы вроде Яго. Да, попадаются. Но мы любим Отелло, убивающего Дездемону. Мучительно любим его, но мы все-таки его любим. Я с юности люблю Макбета — сквозь все его преступления вижу душу по природе светлую — и зачарованную ведьмами. Способность зачаровываться — это, по-моему, великий и светлый дар, что-то от дара вечного детства, без которого не войти в царство. И миллиона злодеяний не было бы без этой способности (смотря какая чара захватит). Чувствительность к чаре — великий крест для зачарованных и великий соблазн для дудочников: заманить, увлечь, утопить в своих страстях. Взрослый ребенок беззащитен перед дудочкой, дудочка ведет его к обрыву, в топь, в омут, в рабство... И он разбивает голову о камни, он выпезает из болота, перепачканный тиной. Зачаровываемость — это ранимость такая же страшная, как ге-

мофилия, как для юродивого его способность впитывать в себя чужие помыслы и мучиться чужими болезнями. Жертвы этих даров, как бы они ни падали, куда бы они ни падали, выше рассудочного суда.

Но есть высший суд, перед которым и они виноваты. «Всякий человек за всех и за все виноват» (Достоевский — Шекспиру, Достоевский — Цветаевой). Нет ни виновности, ни невиновности: есть совиновность. Раскольников виноват, но с ним вместе виноваты студент и офицер, говорившие о возможности убить процентщицу, публика, восторженно простившая Наполеону его преступления, и пр. Бессмысленно спрашивать, кто более совиновен со Смердяковым — Дмитрий или Иван. «Оба убивают своего отца — один чувством, другой мыслью» (М.Волошин). Идея никогда не действует одна, без союза со взрывами темных, неосознанных страстей. В «Братьях Карамазовых» клубок страстей Мити почти отодвигает в сторону и Алешу, и Ивана, и Великого инквизитора, и Зосиму... В «Идиоте» Настасью Филипповну и Мышкина губит Рогожин безо всяких выписных идей. Просто из ревности. Достоевский поразительно глубоко увидел роль идей, помыслов, способность мысли, текста поработить создателя этого текста, и все же в центре его внимания — не идея, поработившая сердце, а само сердце, тяготение сердца к рабству, неспособность к свободе, недостаток воли к свободе.

Расколънников виновен в убийстве. Хотя его несет к дому старухи-процентщицы помимо воли, и помимо воли он поднимает топор. Но он виновен, потому что свободен, — потому что были мгновения, когда помысел терял над ним власть, и он мог сказать ему: прочь! прочь! прочь! Отойди от меня, сатана! Он виновен, потому что не воспользовался мигом света, не ухватился за луч, протянутый с неба. Потому что он пропустил миг свободы, свой Юрьев день, когда раб может решить, отдаваться ли дальше падению в бездну? Или остановиться? Ибо искра Божья есть в каждом, и она дает силу на отречение.

Нынешние страсти другие, чем в 1917-м. Но по сути мы одни и те же: либо мертвецы, окоченевшие в быте, в дрязгах и очередях, либо рабы своей ненависти, «обесевшие» (выражение Солженицына) не меньше, чем террористы, охотившиеся за Столыпиным.

Политика сейчас[33] — дело смертельно скучное, она никого не волнует, за исключением диссидентов. Зато в почете другие страсти. «Мужско-женские отношения — суровое дело», — ска-

зала мне знакомая. «Почему суровое? Скорее нежное», — ответил я. Оказалось, действительно жестокое, как у Достоевского: всю жизнь тянуло к подлецу, хотя понимала, что подлец. И в этой рабской захваченности теряла и теряет душу.

Я здесь чего-то не понимаю и никогда не пойму. То есть умом понимаю, по книгам читал. Но сердцем не понимаю. По-моему, сердце может сделать горбатую желанной, увечного — милым. Если этого нет, значит, очень мало в человеке сердца. И тогда (мимо сердца) тянет не к сердцу, не к душе, а к силе. И в политике та же бездуховная женственность. Та же эротическая захваченность силой. Потянуло к сильным, взявшим в руки власть (потянуло Маяковского, потянуло Есенина, Клюева...). Можно ли судить Марусю, захваченную страстью? Страну, полюбившую молодца? По Шекспиру — нельзя, по Достоевскому — можно. То есть самим себя — можно. «Это от нас приходят мечтатели с растравленными до красноты глазами, со зрачками, устремленными вдаль, это наши видения носятся над страной и миром, как смутные сны», — пишет один из современников (Марк Харитонов).

Свободу завоевали люди, веровавшие в Бога и судившие сами себя Божьим судом. Свободу потеряли — потерявшие самих себя, утонувшие в хаосе. И каждый из нас, потерявший себя, не нашедший себя, виноват в том, что будет завтра. Становится одним из преступников, подготовивших завтрашнюю катастрофу.

Начало 1985 г.

* * *

Публикуя этот текст, написанный на пороге современности, я хорошо сознаю его несобранность, неполноту и нестройность. Но что-то сквозь всю эту неполноту сказалось. Во время внешнего застоя лучше видны (слышны? ощутимы?) глубинные внутренние сдвиги, и, может быть, мои заметки помогут кому-нибудь сделать следующий шаг, копнуть глубже моего.

«Гласность», 1987

Примечания

[1] «Вестник РХД», № 138, с.258.

[2] «Вестник РХД», № 130, с.134.

[3] Читатель найдет освещение этого в книгах Б.Г.Кузнецова, В.В.Налимова и других.

[4] Эта мысль показалась мне моим собственным изобретением. Но буквально через два месяца, летом 1984 года, я нашел сходные идеи у Хайдеггера в его «Времени картины мира».

[5] В последние годы это нелепое словоупотребление распространилось (1990).

[6] Троцкий писал в своем дневнике, что без Ленина революция бы погибла (сообщение Фельштинского, 1990 г.).

[7] Булгаков М.А. Избранное. М., 1982, с.15-16, 17-19.

[8] Солженицын, Сахаров и другие сделали очень много для того, чтобы сдвинуть гору, но гора инерции все еще остается горой. Даже сейчас, когда мы живем под флагом перестройки и само правительство зовет к инициативе и риску. Можно только надеяться, что наша воля к переменам выведет страну из тупика (1987). И сегодня инерция еще не побеждена. Она только изменила форму и стала инерцией развала (1990).

[9] В таком толковании слово «мессианизм» теряет свою исключительность и перестает быть соблазном. — *Г.П.*

[10] Воспоминания Волошина подтверждает дневник его приятельницы, госпожи Хан.— *Г.П.*

[11] Так почувствовала февраль и Марина Цветаева:

...Свобода — гулящая девка
На шалой солдатской груди.

Солдатский бунт, взрыв стихии. Ни Волошину, ни Цветаевой в голову не приходило, что за это можно кого-то винить. — *Г.П.*

[12] М.Волошин здесь чрезмерно сближает Петра I с Иваном IV: утопия Ивана не была «идеалом прогресса своего времени». Но сквозь неточность выражения видна общая перспектива: русское самодержавие лепило общество, недостаточно устойчивое само по себе, по заморским идеалам (византийским у Ивана, западным у Петра). — *Г.П.*

[13] М.Волошин здесь, кажется, попал в плен своей расовой схемы. — *Г.П.*

[14] Ср. «Трагедию интеллигенции» Г.П.Федотова. Взгляды Волошина и Федотова поразительно близки. Знал ли Федотов Волошина? Или он сам пришел к аналогичной концепции?

[15] Здесь невозможно не вспомнить Ахматову — ее портрет Сталина: «Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы и Самозванца спесь взамен народных прав». — *Г.П.*

[16] Это объяснение логически не связано с первым (о конфликте между самодержавием и созданной им же интеллигенцией); но с более широкой точки зрения оно дополняет его: событие возникает на перекрестке многих логик, многих цепей, причин и следствий. — *Г.П.*

[17] Любопытно сравнить с этим вьетнамцев. Они опирались на коммунистический Китай, но ни одному местному китайцу не дали выдвинуться. — *Г.П.*

[18] Здесь, как и в трактовке интеллигенции, М.Волошин близок к Г.П.Федотову. Любопытно, что роль евреев в советской государственности кончилась вместе с эпохой экспериментов. С конца 30-х годов беспокойных евреев вытеснили флегматичные украинцы. — *Г.П.*

[19] Волошин переводит слово «перманентный».

[20] Я делал выписки из тетради (кем-то написанной), но заканчивал по изданию: М.Волошин. Стихотворения, т.1. Париж, 1982, с.355-379.

[21] Пастернак Б. «Охранная грамота». М., 1980, с.257-258.

[22] Письма В.А.Ходасевича Б.А.Садовскому. Ардис, 1983, с.97.

[23] «Ленинградская панорама», 1984, с.488-489.

[24] Здесь и далее цитаты из «Железной мистерии» приводятся по списку, ходившему в Самиздате. Поэма напечатана в 1990 г. («Молодая гвардия»).

[25] Карасса (у Андреева) — порожденная адом материя, из которой создаются демонические тела. Видимо, намек на прямое участие преисподней в битве. — *Г.П.*

[26] Разновидность демонов, подобных коню Медного Всадника. На них ездят игвы. — *Г.П.*

[27] Гаггунгр — «имя планетарного демона нашей брамфатуры».

[28] Полностью демонизированная личность Сталина — редкость в мире Андреева. Даже Иуде Искариоту он дарует спасение.

[29] «И что же! Вот поразительно! Обмолчали...», «И еще один историк: «Нас не интересует роль Парвуса в русской революции...» (А.Солженицын. Наши плюралисты, «Вестник РХД», № 139, с.139).

[30] Каждый пункт легко развернуть: русская буржуазия не обладала политическим опытом; придя к власти, она не нашла ничего лучшего, чем продолжать обанкротившуюся политику царизма и т.д.

[31] «Молодец».

[32] Написано в конце эпохи застоя.

[33] Писано в период застоя.